

СТИХОТВОРЕНИЯ



БАХЫТА КЕНЖЕЕВА

СТИХОТВОРЕНИЯ
Бахыта Кенжеева



СТИХОТВОРЕНИЯ

Бахыта Кенжеева

МОСКВА «ПАН»
1995

Художник Александр Смирнов

Кенжеев Б.

К 35 Стихотворения. — М.: АО Издательство «ПАН», 1995. — 256 с.

ISBN 5-7516-0017-1

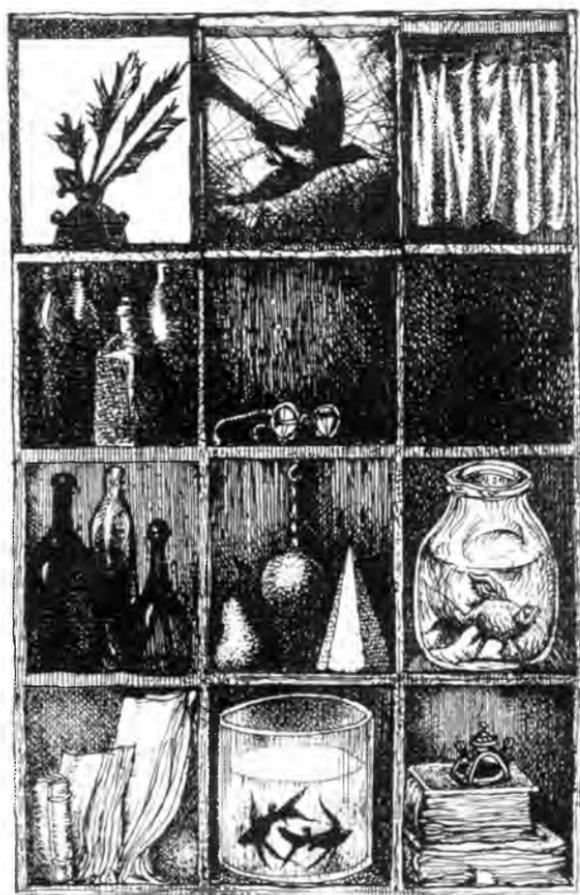
«Стихотворения Бахыга Кенжеева» — пятый сборник живущего в Канаде поэта. Острый метафорический язык, благоговение перед красотой мира в сочетании с трагической горечью делают его стихи ярким явлением в современной поэзии.

К $\frac{4702010202 - 003}{050047 - 95}$ Без объявл.

ББК 84Р7

ISBN 5-7516-0017-1

© Б. Кенжеев, стихи, 1995
© А. Смирнов, иллюстрации, 1995
© АО Издательство «ПАН», 1995



из книги

СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Говори — словно боль заговаривай,
бормочи без оглядки, терпи.
Индевеет закатное зарево,
и юродивый спит на цепи.

Было солоно, ветрено, молодо.
За рекою казенный завод
крепким запахом хмеля и солода
красноглазую мглу обдает

до сих пор — но ячмень перемелется,
хмель увянет, послушай меня.
Спит святой человек, не шевелится,
несуразные страсти бубня.

Скоро, скоро лучинка отщепится
от подрубленного ствола —
дунет скороговоркой, нелепицей
в занавешенные зеркала,

холодеющий ночью анисовой,
догорающий сорной травой —
все равно говори, переписывай
розоватый узор звуковой...

Доживать, ни о чем не жалея,
даже если итогов (прости!)
кот наплакал. В дождливой аллее
лесопарка (две трети пути
миновало) спрягаешь глаголы
в идеальном прошедшем. Давно
в голове неуютно и голо,
о душе и подумать смешно.
Дым отечества, черен и сладок,
опьяняет московскую тьму.
Рожа претерпевает упадок.
Вот и я покоряюсь ему.

Хорошо бы к такому началу
приписать благодушный конец,
например, о любви небывалой,
наслаждении верных сердец.
Или, скажем, о вечности. Я ли
не строчил скороспелых поэм
с неременной моралью в финале,
каруселью лирических тем!
Но увы, романтический дар мой
слишком высокомерен. Ценю
только вчуже подход лапидарный
к дешевизне земного меню.

Любомудры, глядящие кисло,
засыхает трава-лебеда.
Не просите у осени смысла —

пожалейте ее, господа.
Очевидно, другого подарка
сиротливая ищет душа,
по изгибам дурацкого парка
сердцевидной листвою шурша,
очевидно, и даже несложно,
но бормочет в ответ: „не отдам”
арендатор ее ненадежный,
непричастный небесным трудам.

Отложена дуэль. От переспелой вишни
на пальцах алый сок. В ту пору без труда
ссужали время мне — но амба, годы вышли,
платить или бежать. Еще бы знать куда...

Долги мои, долги, убытки и протори
командировочные, справки, темный сон
о белом корабле на синем-синем море,
откуда сброшен я и в явь перенесен.

Там угловатый хрип, ограбленное лето —
и море ясное. И парусник белей
счетов, оплаченных такою же монетой,
что давний проигрыш моих учителей.

В блокноте, начатом едва,
роятся юркие слова,
что муравьи голодным комом
у толстой гусеницы. Знать,
ей мотыльком уже не стать,
погибшей деве насекомой.

Хорош ли образ мой, Эраст?
Кусают, кто во что горазд,
друг другу ползают по спинам.
Осилят в несколько минут
и, напрягаясь, волокут
на корм личинкам муравьиным.

Бытует в Африке молва —
кто поедает сердце льва,
наследует его отваге.
Но до сих пор не видел я
ни мотылька из муравья,
ни слов, взлетающих с бумаги.

Искусство — уверяют — щель
в мир восхитительных вещей,
что не постичь рассудком чистым.
Я в этой области эксперт,
пускай зовет меня Лаэрт
неисправимым пессимистом.

Жар творчества и жар печной —
вот близнецы, мой друг родной.

Воспламеняясь повсеместно,
из жизни мертвое сырье
творят, чтоб превратить ее
в пак духовный и телесный.

Нет, не безумная ткачиха
блуждает в кипах полотна —
ко мне приходит тихо-тихо
подруга старая одна,

в свечном огне, в кухонном дыме
играет пальцами худыми,
свистит растительный мотив,
к коленям голову склонив.

Я принесу вина и чая,
в неузнаваемой ночи
простую гостью угощая
всем, что имеется в печи,

но в город честный, город зыбкий,
где алкоголик и бедняк,
она уходит без улыбки,
благословенья не приняв,

и вслед за нею, в сердце ранен,
влачится по чужой земле
на тонких ножках горожанин,
почти невидимый во мгле.

Дворами проходит, старье, восклицает, берем.
Мещанская речь расстилается мшистым ковром
по серой брусчатке, глухим палисадникам, где
настурция, ирис и тяжесть шмелей в резеде.

Подвальная бедность, наследие выпревших лет...
Я сам мещанин — повторяю за Пушкиным вслед —
и мучаю память, опять воскресить не могу
ковер с лебедями и замок на том берегу.

Какая работа! Какая свобода, старик!
Махнемся не глядя, я тоже к потерям привык,
недаром всю юность брезгливо за нами следил
угрюмый товарищ, в железных очках господин.

Стеклянное диво, лиловый аптечный флакон
роняя на камни, медяк на ладони держа, —
еще отыщу тебя, чтобы прийти на поклон —
владельца пистонов, хлопушек, складного ножа...



ДОКТОРУ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
АЛЕКСАНДРУ САДЕЦКОМУ,
ПРЕДЛОЖИВШЕМУ АВТОРУ
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ СПОСОБ
ИГРЫ НА РУЛЕТКЕ

Раз, заехав в Баден-Баден
и оставшись на ночлег,
убедился я, как жаден
современный человек.
Там с пучками ассигнаций
муж, подросток и жена
с гнусным шулером толпятся
у зеленого сукна,
там иной наследник пылкий,
проигравшись в прах и пух,
смотрит с завистью в затылки
торжествующих старух.
И выигрывает шарик
миллионы в полчаса,
и Меркурий, как фонарик,
озаряет небеса.
Саша! Метод твой искусный
покорил меня давно,
почему же с видом грустным
я покинул казино?

Нет, к другой меня рулетке
тянет, тянет без конца!
Там покинутые детки
венценосного отца
без особенной охоты

покоряются судьбе
и проигрывают с ходу
не фортуне, а себе.
И царит над ними дама,
седовласа, как зима.
Кто она, мой друг упрямый?
Смерть? Гармония сама?
Улыбаясь, ставит крупно,
глядя в будущую тьму,
по системе, недоступной
просвещенному уму.

Даже если Баден-Баден
наградит иной азарт,
если выиграть у гадин
вождеденный миллиард,
не ликуй, профессор Саша,
не гляди удаче в рот —
все равно царица наша
ту наживу отберет.
Лучше бедно жить и гордо,
добиваясь до конца
превращения грешной морды
в вид достойного лица.

Дорожащий неведомым, длинною, рыжей
ниткой на рукаве,
слов не вяжет, не помнит, знай бусинки нижет,
озираясь на две

удрученные вечности, горькую с мокрой,
словно злая слеза.

И от солнца, летящего в пыльные окна,
прикрывает глаза.

Современникам, сцепщикам — быть молодыми,
видеть Лондон и Рим.

Незаметно умрешь, не расслышанный ими,
станешь ветром сырым

вырывать у растяпы на улице вешней
драгоценный билет
в первый ряд поздней осени, жизни кромешной,
в розовеющий свет.

Но не будет спектакля. Ни жеста, ни слова.
Ни меча-кладенца.

Засвистишь по привычке — смешно, бестолково, —
и уже до конца

шорох, шелест, обиженный шепот метели
станут речью твоей,
мелкий горный ручей в середине апреля —
пир воды и камней.

ПАМЯТИ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО

1

Пощадили камни тебя, пророк,
в ассирийский век на святой Руси,
защитили тысячи мертвых строк —
перевод с кайсацкого на фарси —

фронтоник, сверчок на своем шестке
золотом поющий что было сил —
в невозможной юности, вдалеке,
если б знал ты, как я тебя любил,

если б ведал, как я тебя читал —
и по книжкам тощим, и наизусть,
по Москве, по гиблым ее местам,
а теперь молчу, перечесть боюсь.

Царь хромой в изгнании. Беглый раб,
утолявший жажду из тайных рек,
на какой ночевке ты так озяб,
уязвленный, сумрачный человек?

Остановлен ветер. Кувшин с водой
разбивался медленно, в такт стихам.
И за кадром голос немолодой
оскорбленным временем полыхал.

2

Поезда разминутся ночные,
замычит попрошайка немой —

пролети по беспутной России —
за сто лет не вернешься домой.

От военных, свинцовых гостинцев
разрыдаешься, зубы сожмешь, —
знать, Державину из разночинцев
не натянуть казенных галош...

Что гремит в золотой табакерке?
Музыкальный поселок, дружок.
Кто нам жизнь (и за что?) исковеркал,
неурочную душу поджег?

Спи без снов, незадачливый гений,
с опозданием спи, навсегда.
Над макетом библейских владений
равнодушная всходит звезда.

Книги собраны. Пусто в прихожей.
Только зеркало. Только одна
участь. Только морозом по коже —
по любви. И на все времена.

А. В.

Век обозленного вздоха,
провинциальных затей.
Вот и уходит эпоха
тайной свободы твоей.
Вытрем солдатскую плошку,
в нечет сыграем и чет,
серую глядя обложку
книги за собственный счет.

Помнишь, как в двориках русских
мальчики, дети химер,
скверный портвейн без закуски
пили за музыку сфер?
Перегорела обида.
Лопнул натянутый трос.
Скверик у здания МИДа
пыльной полынью зарос.

В полупосмертную славу
жизнь превращается, как
едкие слезы Исава
в соль на отцовских руках.
И устающее ухо
слушает ночь напролет
дрожь уходящего духа,
цепь музыкальных длиннот...

Всадник въезжает в город после захода солнца.
Весело и тревожно лошадь его несется.
Всадник звенит булатом, словно кого-то ищет.
Не надрывайся, милый, не обессудь, дружище.

Город лежит в руинах, выцветший звездный полог
молча над ним сдвигает бережный археолог.
Стены его и рамы — только пустые тени,
дыры, провалы, ямы в пятнах сухих растений.

То, что дорогой длинной в сердце не отшумело,
стало могильной глиной, свалкою онемелой.
В городе визг шакала, свист неумной птицы.
Весть твоя опоздала. Некому ей дивиться.

Тень переходит в сумрак, перетекает в пламя.
Всадник, гонец бесшумный, тихо кружит над нами.
В пыльную даль летящий, сдавшийся, безъязыкий,
с серой улыбкой, спящей на просветлевшем лице.

Хорошо на открытии ВСХВ

духовое веселье.
Дирижабли висят в ледяной синеве,
и кружат карусели.

Осыпает салютом и ливнем наград
пастуха и свинарку.
Голубые глаза государства горят
беспокойно и ярко.

Дай-ка водочки выпьем — была не была!
А потом лимонаду.
На комбриге нарядная форма бела,
все готово к параду.

И какой натюрморт — угловой гастроном,
в позолоченной раме!
Замирай, зачарованный крымским вином,
семгой, сельдью, сырами.

И божественным запахом пряной травы —
и топориком в темя —
чтобы выгрызло мозг из своей головы
комсомольское племя.

Киноархив мой, открывшийся в кои-то
веки, — трещи, не стихай.

Я ль не поклонник того целлулоида,
ломкого, словно сухарь.

Я ли под утро от Внукова к Соколу
в бледной, сухой синеве...

Я ль не любитель кино одинокого,
как повелось на Москве —
документального, сладкого, пьяного, —
но не велит Гераклит
старую ленту прокручивать заново —
грустно, и сердце болит.

Высохла, выщела пленка горячая,
как и положено ей.

Память продрогшая больше не мучает
блудных своих сыновей.

Меркнут далекие дворики-скверики,
давнюю ласку и мат
глушат огромные реки Америки,
темной водою шумят.

И, как считалку, с последним усилием
бывший отличник твердит:
этот — в Австралию, эта — в Бразилию,
эта — и вовсе в Аид.

Вызубрив с честью азы географии
в ночь перелетных хлопот,
чем же наставнику мы не потрафили?
Или учебник не тот?

Любому веку нужен свой язык.
Здесь Белый бы поставил рифму „зык”.
Старик любил мистические бури,
таинственное золото в лазури,
поэт и полубог, не то что мы,
изгнанник символического рая,
он различал с веранды, умирая,
ржавеющие крымские холмы.

Любому веку нужен свой пиит.
Гони мерзавца в дверь — вернется через
окошко. И провидческую ересь
в неистовой печали забубнит,
на скрипочке оплачет времена
античные, чтоб публика не знала
его в лицо, — и молча рухнет на
перроне Царскосельского вокзала.

Еще одна: курила и врала,
и шапочки вязала на продажу,
морская дочь, изменница, вдова,
всю пряжу извела, чернее сажки
была лицом. Любившая, как сто
сестер и жен, веревкою бесплатной
обвязывает горло — и никто
не гладит ей седеющие патлы.

Любому веку... Брось, при чем тут век!
Он не длиннее жизни, а короче.

Любому дню потребен нежный снег,
когда январь. Луна в начале ночи,
когда июнь. Антоновка в руке
когда сентябрь. И оттепель, и сырость
в начале марта, чтоб под утро снилась
строка на неизвестном языке.

Каждому веку нужен родной язык,
каждому сердцу, дереву и ножу
нужен родной язык чистоты слезы —
так я скажу и слово свое сдержу.

Так я скажу и молча, босой, пройду
неплодородной, облачную страной,
чтобы вменить в вину своему труду
ставший громоздким камнем язык родной.

С улицы инвалид ухом к стеклу приник.
Всякому горлу больно, всякий слезится глаз,
если ветшает век, и его родник
пересыхает, не утешая нас.

Камни сотрут подошву, молодость отберут,
чтоб из воды поющий тростник возрос,
чтобы под старость мог оправдать свой труд
неутолимым кружевом камнетес.

Что ж — отдирая корку со сжатых губ,
превозмогая ложь, и в ушах нарыв,
каждому небу — если уж век не люб —
проговорись, забытое повторив

на языке родном, потому что вновь
в каждом живом предутренний сон глубок,
чтобы сливались ненависть и любовь
в узком твоём зрачке в золотой клубок.

Словно тетерев, песней победной
развлекая друзей на заре,
ты обучишься, юноша бледный,
и размерам, и прочей муре,

за стаканом, в ночных разговорах
насобачишься, видит Господь,
наводит иронический шорох —
что орехи ладонью колоть,

уяснишь ремесло человечье,
и еще наостришься, строка,
обихаживать хитрою речью
неподкупную твердь языка.

Но неожиданное что-то случится
за границею той чепухи,
что на гладкой журнальной странице
выдавала себя за стихи.

Что-то страшное грянет за устьем
той реки, где и смерть нипочем, —
серафим шестикрылый, допустим,
с окровавленным, ржавым мечом,

или голос заоблачный, или...
сам увидишь. В мои времена
этой мистике нас не учили —
дикой кошкой кидалась она

и корежила, чтобы ни бури,
ни любви, ни беды не искал,
испытавший на собственной шкуре
невозможного счастья оскал.

В долинном городе — пять церквей,
нестроен воскресный звон.
Вокзал дощатый давно в музей
истории превращен.
Здесь нет бездельников, нищих нет,
и мало кто смотрит вслед
несущей в гору велосипед
красавице средних лет.

За длинным списком былых удач
и глупостей, за горой
далек и тих паровозный плач,
хрипящий, глухой, сырой...
И только рыбы снуют, легки,
в потоках прозрачной тьмы,
и друг за другом бегут холмы
по кругу, вперегонки.

Не убивайся — когда оглох
Бетховен, забыл ли он,
что после эха следует вдох
и после молчанья стон?
Дождись рассвета, проси дождя,
стальным колесом стучи,
опровергая и бередя
усвоенное в ночи.

Лавируя, выгибая хвост,
форель говорливых вод

немой свидетельницей плывет
среди охлажденных звезд.
И расстилается низкий вой
гудка над речной травой,
и заглушает его раскат
невидимый водопад...



Декабрьское небо взъерошено,
сомнительный воздух в груди,
и ты, дорогая, не трожь меня,
как Тютчев просил — не буди.

Не он, говоришь? Микеланджело?
Не ведая вечных забот,
рассветной дорожкой оранжевой
минутная стрелка ползет.

Но мокрой скатеркой полощется
душа, обвисает без сил,
влетая в промерзшую рожицу,
в ряды молчаливых осин,

корявые дупла, извилины,
палаты без ручки дверной —
опора и дятлу, и филину —
летающей твари земной.

Прости недотепа, которому
достался такой пьедестал,
чтоб зимнему певчему ворону
завидовать он перестал —

избавлен от тела тяжелого,
и час позабыв, и число, —
пусть дремлет, пернатую голову,
под черное спрятав крыло.

— Эй, каменщик в фартуке! Что ты возводишь?

— Вали-ка, дурак,
я занят серьезной работой,
секретною, бесповоротной,
не для либеральных зевак.

Но с прежней писательской страстью
канючит властитель сердец.
Он ищет вселенского счастья,
гуманный, взыскательный мастер,
общественных нравов боец.

Не лучше ль ему отравиться,
когда, взбеленившись, плебей
вонзает вязальную спицу
в глаза очевидцу, провидцу
и, если прикажут „убей”, —

убьет. И солжет, не скрывая
бесстыжего взгляда. Но бард
настаивает, прозревая,
что жертвенность есть роковая
в раскладе божественных карт.

И вот — замирает у гроба
российской словесности. Ах,
ужель эта злая особа —
былая красотка, зазноба
в легчайших атласных туфлях?

А каменщик в кепке неброской,
творец государственных мест,
смывает с ладоней известку
и, выпоров сына-подростка,
говядину жесткую ест.

А. Ц.

Запрокинувший голову раб
застывает в восторге. Над ним
виноградные кисти горят
темно-розовым и золотым.

Хорошо. И свобода близка.
Но шестнадцать столетий подряд
звуков варварского языка
сторонился имперский закат.

И куда в эти годы ни кинь
одинокого взгляда — везде
обреченная славе латынь
распростерта в родильном труде.

Улетел несгораемый дым,
ослепив византийских детей.
И всю ночь твои пасынки, Рим,
голосят на могиле твоей.

Не горюй. Горевать не нужно.
Жили-были, не пропадем.
Все уладится, потому что
на рассвете в скрипучий дом,

осторожничая, без крика,
веронала и воронья,
вступит муза моя — музыка
городского небытия.

Мы неважно внимали Богу —
но любому на склоне лет
открывается понемногу
стародавний ее секрет.

Сколько выпало ей, простушке,
невостребованных наград.
Мутный чай остывает в кружке
с синей надписью „Ленинград”.

И покуда зиме в угоду
за простуженным слоем слой
голословная непогода
расстилается над землей,

город, вытертый серой тряпкой,
беспокоен и нелюбим —
покрывай его, ангел зябкий,
черным цветом ли, голубым, —

но пройдишь штукатурной кистью
по сырым его небесам,
прошлогодним истлевшим листьям,
изменившимся адресам,

чтобы жизнь началась сначала,
чтобы утром из рукава
грузной чайкою вылетала
незабвенная синева.

Ледяной синевой обделенный,
лепит дерево слепорожденный
в разумении темном своем.
Хорошо ему жить, властелину
влажной, серой, фисташковой глины,
хорошо ему с Богом вдвоем.

Создавая на ощупь, по звуку
воплощение шумного бука,
и осины, и мглистой луны
на ущербе, он счастлив до дрожи —
так творения эти похожи
на его сокровенные сны.

Двадцать лет уже он, не робея,
лепит дупла и листья — грубее
настоящих, но, веруя в труд
ради вечности, в глиняный воздух, —
жаль, что даже бездомные звезды
подаянья его не берут.

А учитель его терпеливый
шелестит облетающей ивой,
недовольною воеет трубой,
обещая на обе сетчатки
навсегда наложить отпечатки
небывалой беды голубой.

Нам-то что? Мы и сами с усами.
Глина, глина у нас под ногтями,

мой читатель, — попробуй отмой.
Не ощупать поющей синицы —
и томится в трехмерной темнице
червоточина речи прямой.

Законы физики высокой
мы постигаем с каждым днем:
крошится зуб, слабеет око,
вот-вот сорвемся, поплывем

мирами газовых скитаний,
и смерть положенной порой
стоит не райскими вратами,
а гнусной черною дырой.

Я огорчил тебя? Ну что ты!
Жизнь — это жизнь, ее не след
судить за ямы и пустоты
в вокзальной очереди лет.

Ведь умный физики не знает
и в биологии не спец.
Он незаметно умирает
и воскресает наконец.

Не узнаваемый живыми,
сжигает звезды по одной
и забывает даже имя,
своей печали ледяной...

Безымянное небо. Зеленка, и йод,
и кармин. Запыленные липы
поредевшим кружком. И пластинка поет
допотопное, то, что могли бы

мы услышать с бобины чудовищного
агрегата и выпасть в осадок,
приговаривая „волшебство, волшебство”,
на окраине шестидесятых,

в проржавевшей провинции мира, вдали
от вечерней фреоновой воли
метрополии, с привкусом черной земли,
и картошки, и дворницкой соли

на губах. Никого у подъезда. Кривой
тополек, перепаханный дворик.
До одышки шатаясь крикливой Москвой,
не ищи, торопливый историк,

прошлогодного снега, когда поделом
надвигается осень немая,
и бурлишь, и витийствуешь задним числом,
все предчувствуя и принимая...

И темна, и горька на губах тишина,
надоел ее гул неродной —
сколько лет к моему изголовью она
набегала стеклянной волной.

Оттого и обрыдло копать в словах,
что словарь мой до дна перерыт,
что морозная ягода в тесных ветвях
суховатую тайной горит.

Знать, пора научиться в такие часы
сырый воздух дыханием греть,
напевать, наливать, усмехаться в усы,
в запыленные окна смотреть.

Вот и дрозд улетает — что с птицы возьмешь.
Видишь, жизнь оказалась длинней
и куда неожиданней смерти. Ну что ж,
начинай, не тревожься о ней.

За головокружительною далью,
где отдыхает житель неземной,

не ведая терпенья и страданья,
которые таскаются за мной, —

там хорошо, там в чаще бродит леший,
подругу зазывая калачом,

но человек, смешон и безутешен,
печалится — Бог ведает о чем.

Он раньше жил любовнее и проще,
прислушиваясь к дождику над рощей,

он выбирал меж ветром и огнем —
забудь о нем. Обнимемся, вздохнем —

и отвернемся. Знаешь эти окна
в вечернем небе — шепот сквознячка

иных миров, алмазные волокна,
холодный свет у самого зрачка?

Все это блажь, побочная работа
русалочьей болезни лучевой,

рисующей сговорчивые ноты
на влажной оболочке роговой...

Куда плывет громоздким кораблем
летучий град в бессоннице осенней?
То в дерево, то в озеро влюблен,
небритый мой зеркальный собеседник
по-рыбьи раскрывает черный рот —
а я молчу и глаз не подымаю.
Так беззаботно радио поет.
А у него мелодия немая
на языке, и в горле белена —
корабль плывет, сирены молодые
сидят на мачтах, жизнь еще влажна
еще легка, еще она — впервые...

Не за горами ранняя зима.
Рассеется туман, сгустится иней.
Один умрет, другой сойдет с ума,
как мотылек в бесхозной паутине,
И человек вздыхает, замерев.
Давно ему грозит зима другая,
все дни его и годы нараспев
на музыку свою перелагая.
А из краев, где жаркий водород
шлет луч на землю в реках и могилах,
глядит Господь — жалеет, слезы льет,
одна беда — помочь ему не в силах.

Заела проза — но, увы, не та, что Достоевского давила. И если есть мечта — она проста, и, вероятно, неосуществима. Однако же, как просится в тюрьму, когда ночлежки надоели, бездомный негр — хотя б по одному стихотворению в неделю писать тебе и в очередь, сердясь, вставать на почте, многословный адрес надписывать и клеить марку... Связь времен распалась. Я тебе не нравлюсь? Я сам себе не нравлюсь. Голоса за стенкою хохочут и рыдают. Посмотришь на будильник — три часа. Черт подери. Бледнеет, пропадает мой бедный дар. Куда же он прибрел ночами маломощными, зачем я заискиваю перед сентябрем, без лишних слов слетающим на землю? Какие письма — я уже привык к молчанью посерьезнее, подруга. А что за ним? Привычный черновик из рук моих выхватывает вьюга, — то уещает, то опять грозит, то, покрываясь темной позолотой, далекою, неумолимой нотой в заговоренном воздухе гудит...

Жизнь, говоришь, утекает? Смешон, независим
нищий у автовокзала, стреляющий на
суп общепитовский, курево, марки для писем
без вести сгинувшим. Из-под рубахи видна

грудь волосатая. Всякому он доброхоту
вязко твердит о своих злоключениях в том
северном крае, где сердце впрягают в работу
и осеняют бродягу казенным крестом.

Ах, никаких-то героев у повести лживой,
кроме любви да десятка растерянных лет.
С горсточкой мелочи потной в ручище ленивой
жить-поживать, оставляя улиточий след...

Газ выхлопной, беспризорная кошка в ограде
церкви, червивая груша, бутылочный звон
о холодеющий камень. По осени наш тунеядец
зол, беспокоен, — знать, скоро отправится он

самым дешевым автобусом к южным широтам.
Разговори его. Нет, не капустой — тоской
смертной пахнет сентябрь, — уверяет, — чего там,
пусть утекает — но лучше водою морской.

В. Ерофееву

Расскажи мне об ангелах. Именно
о певучих и певчих, о них,
изучивших нехитрую химию
человеческих глаз голубых.

Не беда, что в землистой обиде мы
изнываем от смертных забот, —
слабосильный товарищ невидимый
наше горе на ноты кладет.

Проплывай паутинкой осеннею,
чудный голос неведомо чей, —
эта вера от века посеяна
в бесталанной отчизне моей.

Нагресли мы, накуролесили,
хоть стреляйся, хоть локти грызи.
Что ж ты плачешь, оплот мракобесия,
лебединые крылья в грязи?





Я жил в одной стране...

С. Гандлевский

1

Неужели хвалиться нечем? Нитка, пальцы, канва, игла.
В ненаглядной Европе вечер, а в России и вовсе мгла.

В двух шагах разыгралось море. И стакан на столе вверх
дном,
будто лодочки на просторе сером, северном, ледяном.

Сколько бедного, злого неба молча смотрит в твоё окно,
столько ненависти и гнева в море зябком погребено,

и священник, крестясь, зевает. И зрителя маяка
после рюмки одолевает рыбой пахнущая тоска.

И волна выдыхает „не-ет” перед тем, как уйти в туман,
где ярится и цепенеет остывающий океан.

2

По кому колокольчик плачет? Кто — беспечный, с цветком
в руке —
затевал карнавал незрячий в темнокаменном городке?

Пусть роняет ошметки дыма ясный месяц, летящий вниз,
награждая Иеронима, возрождая его эскиз.

Барабанные перепонки... хриплый голос, недобрый глаз...
Дьяволице и дьяволенку хорошо в этот поздний час.

Но звезда за звездой погасла. Все слепые ушли домой,
потянуло прогорклым маслом, одиночеством и тюрьмой —

просыпайся на всякий случай, недовольный и неживой, —
вдруг остался цветок пахучий на истоптанной мостовой.

3

Закононый ли свет заочный или снег оловянных туч
в человеческий град непрочный добавляет неожиданный луч.

И опять, замерев в испуге, пришепетывая во сне,
сочиняющий книгу вьюги повернется лицом к стене.

Был он другом воды и праха, был он гостем, а стал врагом.
Отнимался язык от страха в тесном теле недорогом.

Смелость, истина, горечь, зрелость. Триумфальная ночь черна.
Кровь безрукая перегрелась, притираясь к изгибам сна,

переулкам, трубам, подвалам, осторожным каналам, где
пленка нефти живым металлом растекается по воде.

4

Всякий возраст чему-то учит, разворачиваясь впотьмах
детской астмой, лиловой тучей, чудным заревом в небесах,

и тогда набирает скорость жизнь, оставшаяся в долгу,
превращая смолистый хворост в серый пепел на берегу

безвоздушного океана, — солью к соли, уста в уста,
Побережья ледком сковало, чтоб украдкой сошла с холста

тень длиной не в одно столетье — и, сжимая в руках
печать,
дождалась тебя до третьей стражи, требовала молчать —

и ловила, и целовала, и протягивала весло —
но усталому солевару не забыть свое ремесло.

Давай за радость узнавания, как завещал один поэт,
пусть Аргус щерится, зевая, в вельвет застиранный одет.
Зима долга, и пир непрочен, в пыли тисненные тома,
и к сердцу тянутся с обочин прохладноглазые дома.

Ответь, дыханьем пальцы грея, что город выверен и тих,
с тех пор, как пробудилось зренье у трилобитов молодых.
Земля влажна, а в небе сухо, но там готовится одна
для осязания и слуха непоправимая весна.

И я родимой стороною бродил, ухваченный на крюк,
где ночью белою, двойною мой сводный брат и нежный друг
перемогаются в ухмылке, дождем к булыжнику примят,
покуда ножницы и вилки в суме брезентовой гремят.

Всею силой скорбного сознания он помнит, бедный звездочет,
что сон прохожего созданья горячим маревом течет,
и проникает, и бормочет, валдайской песенкой звеня,
но оправдания не хочет ни от тебя, ни от меня.

Да и зачем оно, откуда в руке свинцовый карандаш?
Ты за один намек на чудо всю жизнь с охотой отдашь,
и птица в руки не дается, и вера светлым пузырьком
в сердечный клапан молча бьется в скрещении дорог ночном.

Над огромною рекою в неподкупную весну
книгу ветхую закрою, молча веки разомкну,
различая в бездне чудной проплывающий ледок —
сине-серый, изумрудный, нежный, гиблый холодок.

Дай пожить еще минутку в этой медленной игре
шумной крови и рассудку, будто брату и сестре,
лед прозрачнее алмаза тихо тает там и тут,
из расширенного глаза слезы теплые бегут.

Я ли стал сентиментален? Или время надо мной
в синем отлито металле, словно колокол ночной?
Время с трещиною мятной в пересохшем языке
низким звуком невозвратным расцветает вдалеке.

Нота чистая, что иней, мерно тянется, легка —
так на всякую гордыню есть великая река,
так на кровь твою и сердце ляжет тощая земля
тамады и отщепенца, правдолюбца и враля.

И насмешливая дева, темный спрятав камертон,
начинает петь с припева непослушным смерти ртом,
и, тамбовским волком воя, кто-то долго вторит ей,
словно лист перед травкою в небе родины моей.

Ах, карета почтовая, увлеченная пургой,
что летишь, не узнавая древней двери дорогой?

Там, за нею, стонет спящий, вспомнив в дальней стороне
пол гостиничный скрипящий, солнце алое в окне,

вечный сон, который начат, словно повесть без конца,
и в ладонях складки прячет безымянного лица...

Выступай же из тумана месяц медный, золотой,
вынимая из кармана ножик в ржавчине густой —

это жизнь моя под утро с беленой мешает мед
и перо ежеминутно в руки белые берет,

тщится линию ночную снять с невидимых лекал, —
и рыдает, и ревнует к низким, влажным облакам.

Первый погон или прятный посол —
что ты там нагородил?
Птичий язык индевеющих сёл
тих и непереводем.

Медленно спит обнаженный простор.
Немолодой инвалид,
молча ударив стаканом об стол,
в мерзлое небо глядит,

а по земле проступает зима.
И над дорогой кривой
молча качает часовня с холма
луковую головой.

Что же ты учишь, ночной человек,
пальцами веки прикрыв,
трудную речь остывающих рек
и коченеющих ив?

Что ты выводимь в несмежных мирах
линии на пятерне —
лисье убежище, волчий овраг,
заячий гон по стерне?

Тонких нот звуковой лепрозорий,
крючковатые оси ключей,
отворившие зимние зори
и прославленный воздух ничей,

словно склеп, словно вены, в которых
бедный свет среди серых пустот,
тяжелея в немых разговорах,
виноградным дыханьем растет —

и в ночах опаленных, опальных,
где закат в темноту перелит,
сочинитель игрушек хрустальных
пересохший язык шевелит...

Не усвоив его партитуры, —
кто в меху, кто в защитном сукне, —
русской речи слепые фигуры
безнадежно толпятся в окне,

и за ними — за спинами, снами
и гробами — гремит неживой,
развернувший венозное знамя,
прокаженный оркестр духовой,

знаменатель играет в числитель,
тонут ноты в цифири густой,
не умея создать заменитель
раскаленной мелодии той...

Где серебром вплетен в городской разброд
голос замерзший флейты, и затажной
лед на губах в несладкий полон берет
месяц за годом — поговори со мной.

Пусть под студеным ветром играет весть
труб петербургских темным декабрьским днем,
пусть в дневнике сожженном страниц не счесть,
не переспорить, не пожалеть о нем —

сердце в груди гнездится, а речь — извне,
к свету стремится птица, огонь — к луне,
завороженный, темный костер ночной,
вздогни, откликнись, поговори со мной,

пусть золотистый звук в переключке уст
дымом уходит к пасмурным небесам —
пусть полыхнет в пустыне невзрачный куст —
и Моисей не верит своим глазам.

...не ищи сравнений — они мертвы,
говорит прозаик, и воду пьет,
а стихи похожи на шум листвы,
если время года не брать в расчет,

и любовь похожа на листьев плеск,
если вычесть возраст и ветра свист,
и в ночной испарине отчих мест
багровеет кровь — что кленовый лист,

и следов проселок не сохранит —
а потом не в рифму мороз скрипит,
чтобы сердце сжал ледяной магнит, —
и округа дремлет, и голос спит —

для чего ты встала в такую рань?
Никакого солнца не нужно им,
в полутьме поющим про инь и янь,
черный с белым, ветреный с золотым...



Пока наверху без обиды и гнева
закатная льется река,
и злое отечество, гиблое небо,
на запад несет облака —

мой вольнолюбивый товарищ настроит
гитару, и бронзовый звук
взвывается, исчезнет за черной горою —
что хищная птица из рук.

И схватятся в воздухе сокол и ястреб,
взыграет латунная медь,
и будет он петь офицерские астры
и страсти советские петь.

Валяй, гитарист, без унынья и фальши
бывалые вспомним слова,
мы песенку спели, а дальше? А дальше
дрожит, ни жива, ни мертва,

безумная женщина в черном платочке
в своем одиноком углу,
на зеркальце дышит, и зыбкие строчки
без музыки шепчет во мглу.

Европейцу в десятом колене
недоступна бездомная высь
городов, где о прошлом жалели
в ту минуту, когда родились,

и тем более горестным светом
вертоград просияет большой
азиату с его амулетом
и нечаянной смертной душой.

Мимо каменных птиц на карнизах
коршун серый кидается вниз,
где собачьего сердца огрызок
на перилах чугунных повис.

Там цемент, перевязанный шелком,
небеленого неба холсты,
и пора человеческим волком
перейти со Всевышним на ты.

И опять напрягается ухо —
плещет ветер, визжит колесо, —
и постыла простая наука
не заглядывать правде в лицо.

Е. И.

Уходит звук моей любимой беды, вчера еще тайком
зрачком январским, ястребиным горевшей в небе городском,
уходит сбивчивое слово, оставив влажные следы,
и ангелы немолодого пространства, хлеба и воды
иными заняты делами, когда тщедушный лицедей
бросает матовое пламя в глаза притихших площадей.

Проспекты, линии, ступени, ледышка вместо леденца.
Не тяжелее детской тени, не дольше легкого конца —
а все приходится сначала внушать неведомо кому,
что лишь бы музыка звучала в морозном вытертом дыму,
что в крупноблочной и невзрачной странице, отдающей
в жуть,
и даже в смерти неудачной любовь особенная есть.

А кто же мы? И что нам снится? Дороги зимние голы,
в полях заброшенной столицы зимуют мертвые щеглы.
Платок снимая треугольный, о чем ты думаешь, жена?
Изгибом страсти отглаженной ночная твердь окружена,
и губы тянутся к любому, кто распевает об одном,
к глубокому и голубому просвету в небе ледяном...

То могильный морозец, то ласковый зной,
то по имени вдруг позовут.
Аметистовый свет шелестит надо мной,
облака молодые плывут.

Не проси же о небе и остром ноже,
не проси, выбиваясь из сил, —
посмотри, над тобою сгустился уже
вольный шум антрацитовых крыл.

И ему прошепчу я, — души не трави
человеку, ты знаешь, что он
для насущного хлеба и нищей любви,
и щенячьего страха рожден,

пусть поет о тщете придорожных забот,
земляное томит вещество —
не холоп, и не цезарь, и даже не тот,
кто достоин суда твоего...

Но конями крылатыми воздух изрыт,
и возница, полуночный вор,
в два сердечных биения проговорит
твердокаменный свой приговор.

Земли моей живой гербарий! Сухими травами пропах
ночной приют чудесных тварей — ежей, химер и черепах.
Час мотыльков и керосинок, осенней нежности пора,
пока — в рябинах ли, в осинах — пропащий ветер до утра
листву недолгую листает, и под бледнеющей звездой
бредут географ, и ботаник, и обвинитель молодой.

Бредут в неглаженной рубашке среди растений и зверей,
тщась обветшалый амфибрахий и архаический хорей
переложить, перелопатить, — нет, я не все еще сказал —
оставить весточку на память родным взволнованным глазам,
и совы, следуя за ними и подпевая невпопад,
теньями темными, двойными над рощей волглою летят.

Чем обреченнее, тем слаще. Пространства считанные дни
в корзинку рощи уходящей не пожалеют бросить ни
снов птичьих, ни семян репейных, ни ботанических забот.
Мятежной твари оружейник сапожки новые скует,
на дно мелеющего моря ложится чистый, тонкий мел,
и смерти тождество прямое ломает правильный размер.

Не зря ли реки эти льются? Еще вскипит в урочный час
душа, отчаявшись вернуться в гербарий, мучающий нас.
Пустое, жизнь моя, пустое — беречь, надеяться, стеречь.
Еще под пленкой золотою долгоиграющая речь
поет — а луч из почвы твердой жжет, будто молнии прошли
сквозь кровеносные аккорды угрюмых жителей земли.

2.08.90

1

Стало молчание золотом — влажный хаос языка
высох на солнце, проколотый, будто листок табака.

вскрылась в ларце червоточина, — но и пространству черед
сложенным стать, озабоченным — кто его скроит, прошьет,

кто сквозь замочную скважину — в доме уже никого —
крикнет, что стала разглаженной всякая складка его?

Ступятся ножницы, стукнется с лёту в стекло воробей.
Плакальщицей ли, заступницей встанет любовь у дверей,

справа налево протянется ниточка жизни смешной.
Речка, недвижимая странница, выбежит в город ночной.

2

Справа налево протянется ниточка жизни дурной,
речь, неподвижная странница, город пронижет родной,

роща вздохнет онемелая, ветвь задрожит у огня,
что я неправильно делаю? что ты берешь у меня?

Спят заведенья питейные. Время хмельное прошло.
Надо бы выучить швейное, а не разрыв-ремесло,

или уж — веровать в истину и ни черта не уметь —
только широкими листьями в кроне дубовой шуметь,

на расстоянии выстрела от лесопильных работ,
там, где безумец у пристани чудную песню поет.

Забытого промысла малая часть, дитя за стеклянной стеной,
несложную жизнь доживает, кичась свободой своей потайной —

но древо познания Ева потрянет, под змеем прогнется лоза —
из шестиугольных оберточных сот колючие грянут глаза —

есть царство шафраново-черных полос, где твой
добросовестный труд
вспетые смертником челюсти ос в бумажную массу сгрызут.

А ты накануне еще проклянешь двусмысленной бедности гнет, —
с ножом нержавеющей бронзовый нож скрестившись,
на солнце блеснет,

и вдруг озарит — никогда и нигде. У зеркала пальцы болят,
неслышная рябь на узорной воде лицо растворяет и взгляд,

и если без воздуха сердце живет — то влагу сентябрьскую пьет,
последняя истина пасмурных вод колеблет его переплет —

ленивые плети русалочьих трав сгущаются над головой,
и рыбий язык по-осеннему прав, раздвоенный и неживой...

Седина ли в бороду, бес в ребро —
завершает время беспутный труд,
дорожает тусклое серебро
отлетевших суток, часов, минут,

и покуда Вакх, нацепив венки,
выбегает петь на альпийский луг —
из-под рифмы автор, членистоног,
осторожным глазом глядит вокруг.

Что случилось, баловень юных жен,
удалой ловец предрассветных слез,
от кого ты прячешься, поражен
чередой грядущих метаморфоз?

Знать, душа испуганная вот-вот
в неживой воде запоздалых лет
сквозь ячейки невода проплывет
на морскую соль и на звездный свет —

за изгибом берега не видна,
обдирает в кровь плавники свои —
и сверкают камни речного дна
от ее серебряной чешуи.

Обманивая всех, переживая,
любовники встречаются тайком

в провинции, где красные трамваи,
аэропорт, пропахший табаком,

автобус в золотое захолустье,
речное устье, стылая вода.

Боль обоймет, процарствует, отпустит —
боль есть любовь, особенно когда,

как жизнь, три дня проходит, и четыре,
уже часы считаешь, а не дни.

Он говорит: „Одни мы в этом мире”.
Она ему: „Действительно одни”.

Все замерло — гранитной гальки шелест,
падение вороньего пера,

зачем я здесь, на что еще надеюсь?
„Пора домой, любимая”. — „Пора”.

Закрыв глаза и окна затворяя,
он скажет „Ветер”. И ему в ответ

она кивнет. „Мы изгнаны из рая”.
Она вздохнет и тихо молвит „Нет”.

Молоко ли в крынке топится, усыхает ли душа —
жизнь к могиле не торопится, долгим временем дыша.

Ей делить с распадом нечего — вот и судит опрометчиво,
медлит, в дудочку дудит, упражняется в иронии,
напевает постороннее, молча в зеркальце глядит.

Сквозь ее разногласицу понемногу в мир иной
легким мусором уносится голос выстрадавший мой,
вьется ветер обтекаемый — и голодная стрела
между Авелем и Каином млечным лезвием легла.

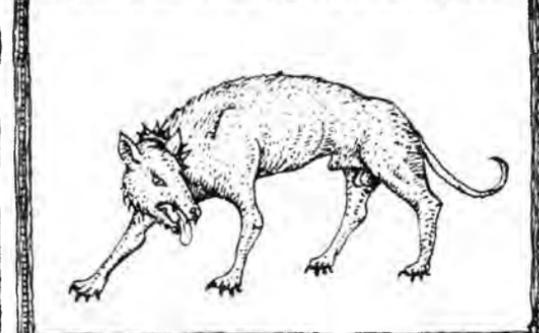
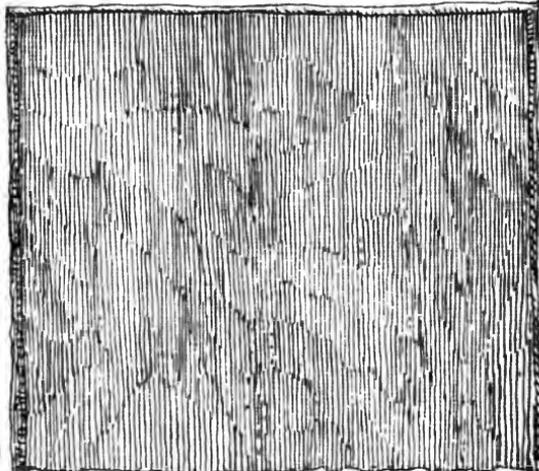
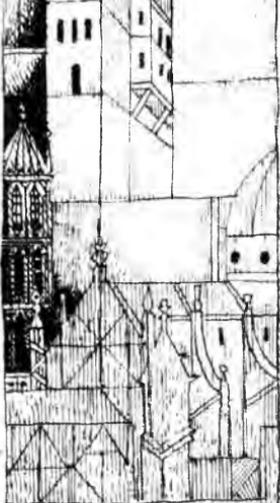
Одному — листвою осеннею в растворенное окно
ради медленного чтения книг, написанных давно,
а другому — вроде выкрика в поле скошенном, пока
икса крест и вилка игрека душной страстью игрока

вяжут нищее сознание безобидного создания
с горлом, глазом, головой — брата скорби мировой...

Когда безлиственный народ на промысел дневной
выходит в город нефтяной и за сердце берет
несытой песенкой, когда в один восходят миг
польнь-трава и лебеда в полях отцов твоих,
чего же хочешь ты, о чем задумался, дружок?
Следи за солнечным лучом, пока он не прожег
зрачка, пока еще не все застыли в глыбах льда,
еще, как крысе в колесе, тебе невесть куда
по неродной бежать стране вслепую, напролом,
и бедовать наедине с бумагой и огнем.

Век фараоновых побед приблизился к концу,
безглазый жнец влачится вслед небесному птенцу,
в такие годы дешева — бесплатна, может быть, —
наука связывать слова и звуки терebить,
месить без соли и дрожжей муку и молоко,
дышать без лишних мятежей, и умирать легко.
Быть может, двести лет пройдет, когда грядущий друг
сквозь силу тяжести поймет высокий, странный звук
не лиры, нет — одной струны, одной струны стальной,
что ветром веры и вины летел перед тобой.







ПОСЛАНИЯ

Монреаль, 1889

Любезный Радашкевич, извинишь ли мою необязательность? С годами все реже долгожданные часы, когда зажжешь свечу, перо очинишь — и доверишь сумрачную душу листу бумаги, зная, что назавтра почтовый пароход его умчит в Европу милую, в морозные пределы Отечества... Знакомый коммерсант, не знающий по-русски, в ноябре — поверишь? — пригласил меня в Россию с торговым представительством. Не стану описывать дорожных приключений, таможенных волнений, первых страхов... Купец мой добрый продавал завод по выпечке пшеничных караваев из теста замороженного (ты слышал про наши зимы, Радашкевич?). Представь картину — публика во фраках, при шелковом белье, при сапогах начищенных — социалисты ныне и впрямь переменились! Твой покорный, надев передник белый, как заправский мастеровой, стоит у жаркой печи и раздает бесплатные буханки чиновникам, артельщикам, министрам...

Мы жили в „Прибалтийской“. Зябким утром авроры зимней скудные лучи

там освещают бедные кварталы
рабочего предместья, но прекрасен
залив ноябрьский — редкий белый парус
и чайки на пронзительном ветру...
До Невского оттуда, помнишь сам,
порядочный конец, но так извозчик
чудесно мчится, так Нева сияет
то серебром, то изумрудом, то
аквамарином! Впрочем, я привычен
к неярким, тихим северным пейзажам,
не то что ты, парижский обитатель...
Кормили славно — но признаюсь, милый,
что две недели жирной русской кухни
мне, право, показались тяжелы.
Вернулся — и набросился на все
дары своей Канады, на бизонье
жаркое, кукурузные лепешки
(индейцы так пекут их, что и ты
одобрил бы), на яблоки и клюкву,
кленовый сахар, английское пиво...
А между тем роман мой злополучный
обруган был неведомым зоилом
в известной „Русской мысли”. Не ищу
сочувствия, мой славный Радашкевич.
Ты не поклонник прозы, ты навеки
привязан к странной музыке верлибра,
безрифменному строю тесных звуков,
к гармонии, что для ушей славянских
груба и непривычна. Не беда,
мой монархист. Поэзия, царица
искусств, готова у своих жрецов
принять любую жертву. Ей по сердцу
отважный поиск дерзких сочетаний
старинных слов. В садах ее роскошных
твоя „Шпалера” незаконным, диким

цветком выросла — и услаждает взор
взыскательный. Скажу без ложной лести —
ты, человек другой эпохи, знаешь
толк в красоте, заброшенной, забытой
сегодняшними бардами. Прости же,
что критика на книгу не готова —
я разлеился с возрастом, мой милый,
знай пью вино, да разъезжаю по
Америке, ищу неверный призрак
гармонии, надежды и любви.
В горах Адирондака, у озер
зеленого Вермонта, раскрываю
твои стихи — и снова погружаюсь
в мир клавикордов, пыльных гобеленов
и отдаленный музыкальный строй
чужой души, что настезь поутру
открыта ветру времени. Прощай же,
товарищ мой, и передай поклон
камням благоуханного Парижа,
которые ты топчешь на рассвете,
вполоборота глядя на восток.

II

Привет тебе из северного града,
манхэттенская жительница! Окна
в моей квартире инеем покрыты,
трещит камин, с фонографа струятся
рождественские песни. С декабря
мы, милая, отрезаны от мира,
портовые рабочие без дела
сидят в пивных, а добрые хозяйки
уже на рынках выбирают самых
упитанных индеек. В эти дни
кто занят верховой ездой, кто
катается на лыжах, кто проводит
субботы за бильярдом, кто — за бриджем,
твоим ножом я разрезаю книги,
которые с последним кораблем
пришли из Петербурга, а порою —
мороз смягчится, вспыхнет пунш горячий
в хрустальной чаше, мысли, будто в детстве,
легки и беззаботны... К Рождеству
с okazji Цветков из Вашингтона
препроводил мне вечное перо —
то самое, которым эти строки
написаны. Лишь изредка, взглянув
на старую чернильницу, я вдруг
вздохну, вздохну, — а почему — не знаю.

А что у вас? На улицах вечерних,
при свете газа, музыка из окон
несется фортепьянная? Горланят

разносчики сосисок? Из гостиниц
на улицу выглядывают грустно
старухи в черных платьях? Пастухи
из дальних прерий, в синих джинсах, так же
дивятся небоскрегам и роняют
широкополые смешные шляпы
на мостовые? Ах, американцы!
И горячи, и незамысловаты,
и как-то слишком деловиты — но
я чувствую завидную судьбу
страны твоей, подружка... Новый Йорк
еще затмит Москву и Петербург,
Париж, и Рим, и Лондон... а куда
мне снится — ты выходишь из театра
к разъезду, усмехаясь грубой драме
провинциальной труппы, отпускаешь
карету, с наслаждением вдыхаешь
сырой, протяжный ветер с океана,
плутающий в кирпичных — восемь, десять,
а то и двадцать этажей — громадах,
и старый номер „Русского богатства“
из сумочки торчит. Бредешь одна,
эманципе, и шляпка без вуали...
А что кинематограф? В самом деле
такая удивительная штука,
как пишут монреальские газеты?

III

Почтеннейший Моргулис, высылаю курьерской почтой рукопись, в надежде, что ты меня еще не проклял. Долго я с ней возился, и, в конце концов, отправившись с семейством в декабре на воды, захватил ее с собою и попотел изрядно, исправляя где перевод, где — автора, который (признаюсь по секрету) простоват и часто, часто склонен в дверь ломиться открытую. Ведь нам с тобой и так, мой Михаил, доподлинно известно, что Иисус есть Бог, что доказательств не требуется добрым христианам, а коли ты безбожник — никакая брошюрка в сто страниц не обратит язычника в спасительную веру... Ну, не сердись. Ты, знаю, убежден, что там, в атеистических кругах, народ непросвещенный жадно ждет напористых речей заокеанских, которые мы в меру слабых сил перелагаем на язык отчизны... Вернулись с юга. Труд мой завершен. И вот в сочельник еду я со службы в омнибусе, купив жене в подарок настольный канделябр, а сумку с текстом засунув под сиденье. Зачитавшись газетой либеральной из Москвы (там смягчена цензура, вольнодумцев

освобождают, вводят суд присяжных,
купцам дают дворянство и едва ли
не отменяют крепостное право),
я выхожу — а сумка и останься
в омнибусе! Моих истошных криков
не слышит кучер, и ни одного
извозчика в округе! Все пропало!
И корректуру, и наброски пьесы,
и дневники, и письма! Рождество
омрачено — опять до поздней ночи,
тоскуя, правлю текст... а через две
недели — представляешь ли? — открытку
прислал мне стол находок. Отыскался
мой скучный труд! Признаться, я подумал:
вот нация, достойная своей
прекрасной королевы. В ежедневном
единоборстве с северной природой
нет времени у честного канадца
губить страну в пожаре революций,
гражданских войн и бунтов, разрушая
порядочность грядущих поколений...
Не потому ль, любезный мой Моргулис,
любая смута — в Азии ль, в Европе —
бросает человеческие волны
к гостеприимным этим берегам?
Ну, будь спокоен, милый. В третий раз
я книгу просмотрел, добавил новых
поправок, можешь сразу отдавать
типографу. Даст Бог, и вправду будет
в отечестве прочитан и оценен
заморский проповедник... До свиданья,
друг Михаил. С повинной головою
пора идти к ревнивым аонидам,
утратившим былую благосклонность:
уж больше года дикая Канада
не слышала моей угрюмой лиры.

IV

Мой добрый Милославский, с Рождеством тебя Христовым. В нашем Монреале на две недели позже свистопляски коммерческой, когда католик честный отпраздновал уже и Новый год, и елку полувысохшую вынес навстречу мусорной телеге, мы его справляем тихо, без затей: негусто с православными в Канаде, и те, сам знаешь, больше ждут весны и светлого Христова Воскресенья. В газете из Парижа, доходящей с изрядным опозданием, встречаю твои статьи о храмах, о легендах Святой Земли — а это значит, ты благополучен — не убит арабом, не выслан из державы иудейской верховным раввином. Но, признаться, скучаю по твоим рассказам, по пространным, страстным письмам. Где новеллы, где твой роман заветный? Неужели тебя, мой друг-прозаик, так смутили реформы на Руси? Властитель дум там ныне — журналист-разоблачитель, экономист, умеющий расчислить сравнительные выгоды оброка и барщины, да автор престарелый когда-то запрещенных откровений двадцатилетней давности. Кипит

отечество, пристрастно выясняя,
насколько голым был король покойный.
Там, на полях литературных схваток,
один зоил клеймит другого, третий
провозглашает русскую идею,
обоих упрекая — то в мздоимстве,
то в верной службе прежнему тирану.
Теперь в народе новые герои —
ремесленник, купец, изобретатель,
единоличник. Бедные поэты!
Им в пору хоть топиться, как писал
несчастный Баратынский. Но тебе
не стыдно ли, мой добрый Милославский?
Когда недобросовестный подрядчик
возводит храм на зыбком основанье
из скверного песчаника, и сам
находит смерть в развалинах, когда
всем миром по ассарию, по лепте
собрав, постановляют строить новый
похожий храм — смутится ли певец,
сжимающий возлюбленную лиру?
Литература выше перестройки,
мой Милославский. Даже если там,
на родине, соорудят хрустальный
Дворец Предпринимателя, ремесла
вдруг возродятся, в лавках зеленых
пахучей грудой лягут апельсины
из Палестины, новый Ломоносов
прославит просвещенного монарха —
я и тогда, чуть обернусь, увижу
твой страшный Харьков — мытарей, блудниц,
разбойников, в отчаянии жизнь
хватаящих рукою перебитой,
и Сына Человеческого, молча
глядящего в слепые их глаза.

Любезный Марк, из сонного Торонто
всего два дня письмо твое летело.
Морозным, ясным утром я, достав
из ящика его, решил на службу
чуть припоздниться, чтоб прочитать
в кондитерской. Знакомый половой
мне улыбнулся, подавая слойку
и крепкий кофий. Местные красотики
в бобровых шубах бойко щебетали
за столиком соседним, и таким
уютом жизнь дышала. Парижанин
пускай смеется — в целом Новом Свете
нет города милей для либеральных,
ленивых жизнелюбцев, вроде нас
с тобою, Марк. Как жаль, что ветер странствий
погнал тебя на запад, в цитадель
охотников, купцов, аристократов
сомнительных, чей громкий титул только
в Торонто и берут на веру. Впрочем,
в провинции карьеру сделать легче.
Ты начал скромно. Но учти, привратник —
первейший друг дворецкому, а тот,
не сомневаюсь, вскоре убедится,
что ты не так-то прост. Доложит графу,
ты станешь управляющим, а может,
и лучше. В министерстве я навел
кое-какие справки. Гордый граф
не чужд торговли, даже вхож в правление
Компании Гудзонова залива,

а та как раз ведет переговоры
с посольством русским (кажется, в Оттаве)
о тульских ружьях, ворвани и об
уральском чугуне. Вот тут-то, милый,
и выйдешь ты на сцену — эмигрант
из тех краев, еще не позабывший
ни языка, ни азиатских нравов
отечества. Сумей же доказать,
что ты и впрямь в привратницкой каморке
случайно оказался, что когда-то
ворочал миллионами, что ныне,
когда социалисты поумнели
и зверем не кидаются на прежних
российских граждан, ты послужишь верой
и правдою любимой королеве...
У нас мороз. Страдаю инфлюэнцей.
Чай с медом пью, стараюсь обойтись
без доктора — боюсь кровопусканий.
Супруга сбилась с ног — мальчишка тоже
хворает, бедный. Как твое потомство?
Уже и зубки режутся, должно быть?
Забавны мне превратности Фортуны!
Давно ли в Петербурге, белой ночью,
стояли мы над царственной Невою
недалеко от Биржи, и давно ли
ты, честный маклер в черном сюртуке,
читая телеграммы, ликовал,
потом бледнел, потом, трезвея, тут же
спешил распорядиться о продаже
то киевских, то астраханских акций?
Мой славный друг, в торонтской глухомани
любой талант заметнее. Ты молод
и несгибаем. Отпрыск твой растет
молочным братом юного виконта.
Лет через пять, когда переберешься

обратно в Монреаль и заведешь
открытый дом в Бестмаунте, явлюсь
к тебе на бал — и за бокалом брюта
уговорю, ей-богу, учредить
стипендию писателям российским.

VI

Прелестница моя, каков портрет,
какое платье! Прямо как живая.
А кто фотографировал? Супруг
законный, неизменный? Или дочка?
Ты мало изменилась, друг сердечный, —
неугомонный, милый, жаркий взгляд
все так же неприкаян...

В Монреале
обильный снег, навоз дымится конский
на мостовых, у ратуши изваян
индеец ледяной, — у нас зима,
та самая, которой так тебе
недостает во Фландрии. На днях
читал стихи я в эмигрантском клубе.
Разволновался, сбился... наконец
поднял глаза. Поклонники мои
(семь стариков и две старухи) в креслах,
кто тихо, кто похрапывая, — спали.
Поднялся я и вышел, улыбаясь
неведомо чему. Ах время, время,
грабитель наш. Бежать российских смут,
найти приют за океаном, спать
и видеть сны — не о минувшем даже,
а о подагре, лысине, одышке...
Дошел до моста. На реке застывшей
мучительно, нелепо громоздились
чудовищные льдины. Экипажи
скрипели, матерились кучера
на пешеходов, жмущихся к перилам.

В июне, в день святого Иоанна
Крестителя, такие фейерверки
устраивает мэрия! Народ
толпится на мосту, кричит, теснится,
и всякий год один-другой несчастный,
конечно, тонет. Властная река
уносит жертву развлечений. Что ж,
не отменять же празднества...

Так значит,
роман мой не удался? Не беда,
он — плод другого времени, когда
я был влюблен, порывист, бескорыстен,
короче — юн. А юность простодушно
рассчитывает, устранив преграды
к предмету вожелений, насладиться
означенным предметом. Я с тех пор
узнал, моя голубушка, тщету
стремленья к счастью, научился видеть
не в будущем его, не в прошлом даже,
а в настоящем — скажем, в духовом
оркестре у реки, где конькобежцы
катаются по кругу, в снегопаде
рождественском, в открытке долгожданной
от старого товарища. Об этом
(а может, не об этом) всякий вечер,
едва заснет мальчишка, а супруга
садится за грамматику, в гроссбухе,
по случаю доставшемся, пишу я
другой роман, не представляя, кто
возьмет его в печать. Литература
сейчас не в моде, милая. А впрочем —
ты видела занятнейший отрывок
в январском „Русском вестнике” за прошлый
год? Славно пишет этот Достоевский.
Фантастика (к примеру, там сжигают

сто тысяч в печке), жуткий стиль, скандалы,
истерики — а право, что-то есть.
Герой романа, обнищавший князь,
страдающий падучей, приезжает
на родину с идеями любви,
прощенья, братства и славянофильства.
Наследство получает — и с одним
купчишкою (кутилой, богачом)
вступает в бой за некую Настасью
Филипповну — хотя и содержанку,
но редкую красавицу, с душою
растоптанной — имеется в виду
Россия, надо полагать, дурная,
безумная и дивная страна...
Кто победит? Бог весть. Блаженный князь?
Гостинодворец? Или третий кто-то,
на вороном коне, с трубою медной
и чашей, опрокинутой на землю?

VII

Приветствую тебя, неповторимый
Димитрий Александрович. Где бродишь,
где странствуешь? На бенефис в Нью-Йорке
послав тебе свой скромный сборник, я
не получил ответа... Неужели
не выдержал ты испытанья славой?
Что ж! От Караганды до Сан-Франциско
гремят твои пленительные строки,
стыдливые невесты преподносят
смущенным женихам твои холсты
перед волшебной ночью брачных таинств
как символ высшего блаженства, Пригов.
Но, заслужив всемирный сей триумф
трудом, талантом, самоотреченьем,
не возгордись, не подвергай забвенью
своей прискорбной участи при старом
режиме, ненавидевшем искусство.
Бесстрашно мы тогда одним молились
богам, и в зимних прериях канадских
нередко я в слезах припоминал
твои сонеты стройные, твоих
героев древних, подвиги свершавших
на красочных полотнах, в назиданье
изнеженному зрителю.

Ты был
едва ли не единственной опорой
великому призванью, что корнями
уходит в наше прошлое святое,
к Державину и Рокотову. Ныне,

когда заря над родиною встала,
и злые модернисты, словно бесы,
рассеялись, ты стал послом достойным
отечества, в развратном Новом Свете
вновь подтвердив свои права на титул
российского Монтеня.

Побежденный

учитель, умиленно наблюдаю
за быстрым, ослепительным восходом
твоей звезды, гласящей возрожденье
всего, что спит в измученной душе
изгнанника. Я слышал, ты сейчас
на родине Лукреция и Тасса, —
волнуйся же в предвосхищенье первых
мазков суровой, вдохновенной кисти,
любуйся на Везувий, заноси
бестрепетным пером в бювар походный
наброски гармонических созвучий,
достойных Гоголя... Он тоже так любил
Италию! Сжимая жаркий факел
поэзии, прими благословенье
канадца незатейливого. Пусть
ты позабыл меня, российский гений.
Жизнь коротка, а творчество бессмертно.
Всходи же, не колеблясь, на Олимп,
где муза ждет тебя с венком лавровым.

VIII

Благодарю за весточку, мой Яков.
Мне пишут из отечества всё реже,
свои у вас заботы — после долгих
десятилетий гнусной тирании
Россия, просыпаясь, созывает
сынов трудолюбивых, чтоб они
засеяли заброшенные нивы
отборным ячменем, перековали
решетки с кандалами на плуги
и паровые мельницы.

В Канаде,
затерянной в лесах, не понимают
восторженности вашей — не с властями
мы боремся, мой Яков, а с природой
неукротимой. Снежную зиму
бывает, дикий гризли похищает
младенца из коляски, ураган
с домов срывает крыши, алгонкины
воинственные, в перьях разноцветных,
грозят набегом буйным... Третий год
поражена страна моя жестокой
болезнью, Божьей карой, что с содомским
грехом передается. Мужеложцев
(их много здесь, по недостатку женщин)
не жалко, но и честный обыватель
подвержен страшной хвори. Доктора
в отчаянье. Девиды женихам
теперь не дарят даже поцелуев,
фривольностям, изменам наступил

конец, мой Яков. Новая чума
обрушилась на бедную Канаду.
Монахини смиренные — и те
не ходят за больными, опасаясь
заразы. Вечерами на санях
по городу провозят скорбный груз,
прохожие шарахаются, ставни
по очереди хлопают... Ах, Яков,
я так мечтал укрыться от скорбей
и рока беспощадного — но всюду
Господь напоминает нам о Страшном
суде. И завсегда тай непотребных
портовых заведений, мореход
из Сан-Франциско, Лиссабона или
Архангельска, угрюмо пьет в таверне
свой горький ром, не соблазняясь боле
корыстными красотками. Вот так,
мой добрый Яков, Божье наказание
оздоравливает нравы...

До России

содомская едва ли добралась
погибель. Ваш народ многострадальный
приучен к осторожности. А ты,
мой мудрый химик, преданный до страсти
естествоиспытательству, ночами
беззвездными у вытяжного шкафа
мешаешь белый фосфор с мышьяком,
с толченой костью, с серным ангидридом,
и ставишь перегонный куб голландский
на масляную баню, наблюдая
за чередой чудесных превращений,
сулящих избавление от заморской
чумы. Я верю, нищая Россия
сумеет повторить свой древний подвиг,
когда славянский муж в стальной кольчуге

надежной стал твердыней на пути
безумных скифов...

Добрый мой профессор,
поторопись, а если будешь к лету
в Соединенных Штатах, доберись
до Монреаля, привези и нам
плоды самоотверженной работы,
чтобы смогла на площади Бобровой
воздвигнуть благодарная Канада
твой образ медный, с надписью по-русски
и колбою химической в руке.



IX

Мой Палисандр, ахейские вершины
покрыты снегом. Золотится гладь
эгейская. В безветрии застыли
рыбацкие суденышки. Горчат
зеленые оливки, сыр овечий
крошится на пастушеской лепешке,
и амфора двуручная полна
вином багровым. У твоих дверей
лавр шелестит, синеет можжевельник.
Мой Палисандр, мой чудный лирник, трижды
изгнанник, разжигая свой очаг
на острове, приюте диких коз
и вольных муз, нашел ли ты источник
живого вдохновения? Ночами
является ли в хижину твою
слепая тень Гомера? Напевая,
в крестьянских ты сандалиях восходишь
по горной тропке к храму Артемиды
и смотришь вниз, где юная Европа,
тунику скинув, плещется в заливе.
Счастливая Эллада! Ей в наследство
досталась власть притягивать певцов
всей ойкумены, даже из торговой
Америки, где скрежетом прядильных
машин и паровозными гудками
заглушены стенанья сладкой лиры.
Мой Палисандр, уже пятнадцать лет,
как из славянских сумрачных пределов
вернулся ты в Канаду, на свою

заснеженную родину — но вскоре
взлетел, подобно вольному орлу
с квебекской колокольни, приземлившись
в Америке, гнезде республиканцев
и атеистов. Страшную ошибку
ты совершил, певец, и заплатил
ужасною ценой. Твоя любовь
к британской королеве приводила
американцев в бешенство. Годами
ютился ты в затерянных ущельях
Вермонта, словно ссыльный, в Мичигане
промышленном, где древние леса
под топорами гибнут на потребу
каретника, в Манхэттене распутном.
Душа певца устала. Ты собрал
нехитрый скарб в мешок и отряхнул
постылый прах Америки от ног
натруженных. И пароход ревущий
увлек тебя в желанную Элладу.
Мой Палисандр, невольник вдохновенья!
Отчизна без тебя подобна дому
без алтаря. Неужто ты навеки
отверг дары отечества — лапту,
коньки острозаточенные, скачки,
хоккейные баталии? Забыл,
как поутру стреляли мы бромонтских
тетеревов, какого осетра
с каноэ ты пронзил своей остройгой
на озере Святого Иоанна?
Любимец Аполлона и Эрота!
Грущу по тем мгновеньям незабвенным,
когда, склонясь на долгие моления,
ты ударял волшебными перстами
по струнам верной лиры... Терпеливо
Канада ждет возлюбленного сына,

наследника Орфея, чтобы звуки,
божественные звуки новых песен
дыханьем солнца древнего согрели
доминион недоброго Борея.

Х

Дошла ли, Рональд, до тебя моя
открытка из Флориды? Отчего же
не отвечаешь? Впрочем, понимаю —
ты устаешь, издатель молодой.
То за полночь с прекрасной Элендеей
стоишь в сыром подвале за машиной
печатною, то у наборной кассы
сгибаешься, безвестный просветитель...
Лишь изредка, поношенный сюртук
очистив щеткой от свинцовой пыли,
сидишь в таверне, где звенят студенты
бокалами, где пожилой тапер
играет на разбитом пианино
ковбойскую мазурку да заезжий
каретник из Детройта, экипаж
рессорный сбыв удачно адвокату
или врачу, тоскует за седьмым
стаканом джина... Ах, мой милый Рональд,
ночные наши буйные пиры
не повторятся — я сумел расстаться
с грехом своим. Напрасно зазывает
меня трактирщик гнусный — никогда
не заложу я больше ни отцовских
часов с цепочкою, ни образка
нательного. Опять читаю книги,
хожу в свой департамент. К Рождеству
усердие мое столоначальник
отметил небольшими наградами
и отпуском. Отсюда и вояж

с семейством к морю. Трое долгих суток
промаялись мы в поезде железной
дороги, поражаясь, как огромна
Америка. От лиственниц канадских
до мексиканских кактусов привольно
раскинулась могучая держава,
великодушно давшая приют
десяткам тысяч беженцев российских.
И наконец, пред нами океан
засеребрился! После Вашингтона
чиновного, и шумного Нью-Йорка
так странно было видеть обнаженных
детишек смуглокожих, крыши редких
рыбацких деревушек, пеликанов,
летающих стаей, с полными мешками
под клювами... Наш постоялый двор,
весь в пальмах и бананах, целый день
веселые торговцы осаждали
и рыбаки. Один тебе омара
протягивает страшного, другой —
акулу свежепойманную, третий —
жемчужину, добытую на дне
тропического моря... Ты слышал ли
о Мики-Маусе, Рональд? Христианство
до этих мест еще не добралось,
туземцы поклоняются большому
мышонку с человеческим лицом.
Жрец низкорослый, в полотняной маске
мышиной и оранжевых штанах,
с доверчивых креолов собирает
положенную дань, — а в воскресенье
бывает, Рональд, целый сонм богов
языческих беснуется в округе,
бьют в барабаны, крикают и лают
нечистые чудовища, лишь к ночи

расходятся, и ласковое солнце
садится в океан темно-багровый...
Ну, до свиданья, друг мой, до свиданья.
Жду в гости — только виски из Кентукки,
британский джин и хлебное вино
оставь в своей квартире холостяцкой.
И знаешь что? Не брал бы ты в дорогу
романов современных. Захирела
литература русская. Возьми
зачитанного Битова, Цветкова,
Жуковского. Наговоримся всласть
о прелестях словесности старинной.

Привет тебе, печальный пересмешник
 российского Парнаса. Догорает
 в настольной лампе керосин, пора
 зажечь свечу и лондонских чернил
 в чернильницу долить. С таким трудом
 даются даже письма! Неужели
 ржавеет дар мой, отлученный от
 наречия московских улиц? Или
 вторую революцию в России
 и вправду не понять обломкам первой?
 Утратили мы трепетную связь
 с отечеством неласковым. Восторги
 при чтении отважных откровений
 в журналах петербургских — миновали,
 как первая любовь. Февральский воздух
 неумолим и вязок. Всякий год
 об эту пору я до поздней ночи
 сижу над ветхим Пушкиным, курю
 изгрызенную трубку... тишина —
 хоть бей посуду... только ветер поздний
 свистит в трубе, трещат дрова в камине,
 да сани с подгулявшим седоком
 вдруг проскрипят под фонарем чадающим...
 Где ужас мой, где нежность? Потоскую —
 и спать ложусь. Корзина для бумаг
 полным полна. Ты тоже инородец,
 признайся, мой Тимур, тебе не страшно
 слагать стихи на русском языке?
 И гибок он, и жарок, как больная

красавица, и мясом человеческим
питается, и ненавистью так
пропитан, что опасно прикоснуться
к его шипящим звукам, — если только
не промышлять гражданственную скорбью,
игрой в шарады или кисло-сладкой
серьезной прозой. В мгlistом Петербурге
социалист сквозь зубы признается,
что не построил рая на земле.
Америка залечивает раны
военные, вчерашний черный раб
поет свободу, посвящая лиру
ремеслам и коммерции. Европа
разнежилась в комфорте, наслаждаясь
спокойной старостью. Моя Канада,
укрывшись пледом, пьет у очага
домашний эль, читает календарь
за прошлый год. Гармония, Тимур,
вещь редкая и очень дорогая,
засим и спрос (читай хоть Карла Маркса)
ничтожен. Процветает ли народ,
бунтует ли, — ему не нужно плясок
перед ковчегом Ветхого Завета,
тем более — перед чикагской бойней
иль памятником жертвам декабризма...

Старею, зубоскал мой благородный.
Все реже вижу чистые созвездья
над городом затерянным моим,
ворчу на эмигрантские журналы
(включая даже „Колокол”) — стихи
в них так же смехотворны, как в российских.
Но вот на днях пришла с февральской почтой
твоя поэма — как она попала
к издателям? — и восхитился я

нежданной этой музыкой — алмазом
по зеркалу кривому, по стакану
трактирному, по небу голубому...
Прислал бы экземпляр — да опасаясь,
при всех реформах новых, искушать
недремлющих блюстителей культуры.

ХП

Вот и весна, историк, искушенный
в искусстве красноречия, ночной
побежке звезд над старым переулком
и хрусте льда под сквозняком апрельским.
Журчат ручьи по гулким мостовым,
звенят колокола, грядет суббота,
когда со всей Москвы мастеровые,
мещане и чиновники неспешно
на кладбище пойдут со всем семейством —
прибрать могилы, помянуть стаканом
смирновской водки дедов и отцов...
Уже, наверно, франты молодые
в дурацких котелках, по новой моде,
слоняются бульварами. Поэт,
чуть улыбаясь, смотрит с постамента
чугунного... а глупые студенты,
хихикая, перевирают строки
про милость к падшим... подлая цензура
и здесь успела — даже после смерти
не убежал твой славный соименник
из лап ее...

Жизнь близится к концу,
но, слава Богу, есть еще иные
лихие корабельщики. Поют
они и плачут, восхищаясь ветром
в тугих снастях и бешеной лазурью
насколько хватит взгляда...

Неизменно
и море, и корабль — лишь времена

меняются, да так, что не узнаешь.
Трибун опальный неумной речью
сторонников сзывает — и напрасно
скрипит зубами отставной полковник —
в Якутск его, в Тобольск! Поди, попробуй —
на улицы Москвы толпа такая
немедля хлынет — с дрекольем, с булыжным
оружием, чтоб защитить любимца
народного, мятежного Бориса.
А Михаил каков! А каковы
литовцы и чухонцы, Александр!
А буйные защитники природы!
Дай волю им — останется Россия
без рудников и фабрик, без железных
дорог и пароходов...

Хорошо

в стране, когда смягчаются законы
и власти просвещенные дают
страстям народным вольно изливаться!

Не спрашивай, зачем я не сажусь
на пароход, не вглядываюсь в майский
туман над Амстердамом, по пути
на родину...

В тяжелом макинтоше
я прохожу сквозь старый город — банки,
лабазы закопченные, дома
терпимости — к проснувшемуся порту.
Лед сходит. Словно черный муравей,
буксир пыхтящий медленно толкает
потрепанный корабль из Петербурга,
и моряки усталые дивятся
зевакам, попивающим вино
на столиках у пирса. Я и сам
охотно пью за молодость чужую,

за ненадежный путь землепроходца,
и подымаю воротник — а ветер
подхватывает чаек, уходящих
с недобрым криком в ветреную высь.







из книги

AMO ERGO SUM

Человек, продолжающий дело отца,
лгущий, плачущий, ждущий конца ли, венца,
надышавшийся душной костры,
ты уже исчезаешь в проеме дверном,
утешая растерянность хлебным вином,
влажной марлей в руках медсестры.

Сколько было слогов в твоём имени? Два.
Запиши их, садовая ты голова,
хоть на память — ну что ты притих,
наломавший под старость осиновых дров
рахитичный детеныш московских дворов,
перепаханных и нежилых?

Перестань, через силу кричащий во сне
безнадёжный должник на заемном коне,
что ты мечешься, в пальцах держа
уголек, между тьмою и светом в золе?
Видишь — лампа горит на пустынном столе,
книга, камень, футляр от ножа.

Только тело устало. Смотри, без труда
выпадает душа, как птенец из гнезда,
ты напрасно ее обвинил.
Закрывай же скорей рукотворный букварь —
чтобы крови творца не увидела тварь,
в темноте говорящая с Ним.

Пчелы, стрекозы, осы ли — высохли. Но плывут
осени тонкой посулы — поздний паучий труд, —
так и зовут проститься и ахать Бог знает где
сахарною крупницею в стылой ночной воде.

Что же земля упрямая, не принимая нас,
сланцем и черным мрамором горбится в поздний час?
Выстрадаана, оболгана, спит на своем посту,
горной дорогой долгою выскользнув в высоту.

И, закружившись с листьями, выдохнет нараспев —
вот тебе свет и истина, а остальное — блеф.
Сердце мое, летящее сквозь водородный рой,
сладко ли в звездной чаше, тесно ль в земле сырой?

* * *

Душа стеклянная, кого ты ждешь, звеня?
Смотри, расходятся любившие меня,

бледнеет дальний свет, слабеет львиный рык,
глодает океан гранитный материк,

но помнит вольный волк и ведает лиса
хруст шейных позвонков при взгляде в небеса,

а ты все силишься, все целишься в упор —
душа бубновая, железный уговор...

Незаметно отстроился праздничный град,
и кирпичные стены, и башенки в ряд,
заиграло на солнце цветное стекло —
и пяти-то веков не прошло...

Что же вздрогнуло сердце? Что мучает ум?
Кочевой ли свободы наследственный шум?
Или солоно стало подруге твоей —
океанских, маньчжурских кровей?

Будет, станет, отмаялось, перетекло,
совершенным глаголом в могилу легло,
золотые остались слова поутру
бормотать, да курить на ветру.

А сентябрь расстиляет для нас, дураков,
небеленую ткань городских облаков,
и сшивает ее от угла до угла
колокольни сухая игла...

Полно мучиться сном одноглазым.
Вены вспухли, сгустилась слеза.
С медной бритвой и бронзовым тазом
в дверь стучится цирюльник, а за

ним — буран, и оконная рама,
и ящик в астраханской степи,
равнодушная звездная яма
и отцовское — шепотом — „спи”.

Спи — пройдет не нашедшая крова
немота, и на старости лет
недопроизнесенное слово
превратится в медлительный свет,

и пустыня, бессонная рана,
заживает — и время опять
говорящую глину Корана
онемелыми пальцами мять.

Заснет мелодия, а нотам не до сна.
Их редкий строй молчит, не понимая,
куда бежит волна, зачем она одна,
когда уходит ключевая

речь к морю синему, где звуков кротких нет,
где пахнет ветром и грозой,
и утвердился в камне хищный след
триаса и палеозоя.

Да и на чей положены алтарь
небесные тельцы и овны,
кто учит нас осваивать, как встарь,
чернофигурный синтаксис любовный?

Так тело к старости становится трезвей,
так человек поет среди развалин,
и в отсвете костра невесел всякий зверь,
а волк особенно печален.

17 АВГУСТА 1991 г.

Грядущего, теснящего меня,
не ведаю, а старого не помню.

Брожу вдоль улиц шумных и с кривою
улыбкой доброхота созерцаю
имперский град. С облезлых небоскребов
срываются дрянные изразцы,
суля трагикомическую гибель
прохожему. Из-за угла змеится
расстроенная очередь за мясом,
а может быть, за водкой, фронтовик,
позвякивая орденами, рвется
к прилавку, продавщица утирает
злой пот со лба, лихая молодежь
не хочет сторониться. Шелестят
стареющие липы (было три,
осталось две в том дворике арбатском,
лишь воздух так же сладок). Мужики
(ровесники мои) сдувают пену
с разбавленного пива, желтый лист
кружится над ларьком, и тишина.

А в пригородах глина, тлен и запах
капусты у подъезда. Тошый кот
выискивает скудную добычу
среди мусора и битого стекла.
Как нож из тела мертвого, ржавея,
торчит из развороченной земли
стальная арматура... на щите

обрывки пожелтевших объявлений,
портретов, обещаний: голосуйте
за тех, за этих. Всякий именует
себя отцом Отечества, сзывает
народ на демонстрации, под красным
или трехцветным флагом. По ухабам
в обшарпанном автобусе трясется
рабочий люд, прижавшись молчаливо
друг к другу, и не ропщет, только дети
серьезно так, обиженно вздыхают...

А подойдешь к газетному киоску,
учебник черной магии. Плакаты
с нехитрыми красотками. Книжонка
„Жизнь после жизни”. Кафка и Платон,
и Библия, и что-то о пришельцах
из космоса. Упитанный делец
читает „Коммерсанта”. Ослабела
былая власть, когтистой лапой больше
не бьет — и храп ее не достигает
убогих кухонь, где глухие толки
о лимитрофах, майках, колбасе
(а сыр исчез навечно), об отъезде
в Израиль ли, в Австралию, куда
удастся. Говорят, по центру крысы
свободно бегают — но этот слух
преувеличен, как и остальные.

Осенний сквер, худые дети, ветер,
листающий вчерашнюю газету.
Сплошные письма с просьбами. Кто молит
о шприцах одноразовых, кто о
лекарствах из Америки, кто плачет
об одинокой старости.

И нет

поэта, что со сдавленным восторгом
сказал, допустим, так: *Ты рядом, даль*
капитализма...

Родина моя,
как ты устала, хоть бы кто-нибудь
погладил бы тебя по волосам
седеющим, растрепанным, водою
холодной напоил...

Речь о непрочности, о ненадежности. Речь
о чернолаковой росписи в трещинах, речь о
мутных дождях над равниною, редкости встреч,
о черепках в истощенной земле Междуречья,

слово о клинописи, о гончарном труде,
вдавленных знаках на рыжей, твердеющей глине,
о немоте, о приземистом городе, где
на площадях только звонкие призраки, и не

вспомнить, о чем говорил им, какая легла
тяжесть на эти таблички, на оттиск ладони
с беглым узором, какая летела стрела
в горло покойному воину — больше не тронет

горла стрела, лишь на зоркой дороге в Анд
бережно будет нести по скрипучим подмосткам
сизое время разрозненный свой алфавит
глиняных линий на нотном пергаменте жестком.

22 ноября 1990 — 27 июля 1991

Ты вспомнил — розовым и алым
закат нам голову кружил,
протяжно пела у вокзала
капелла уличных светил,
и, восхищаясь жизнью скудной,
любой, кто беден был и мал,
одной любви осколок чудный
в холодной варежке сжимал?

Очнись — и снова обнаружишь
ошеломляющий приход
зимы. Посверкивают лужи,
сквозит кремнистый небосвод.
По ящикам, по пыльным полкам
в садах столицы удалой
негласный месяц долгим волком
плывет над мерзлою землей.

Зачем, усталый мой читатель,
ты в эти годы не у дел?
Чье ты наследие растратил,
к какому пенью охладел?
И неумен, и многодумен,
погрязший в сумрачном труде,
куда спешишь в житейском шуме
по индевеющей воде?

А всё же главных перемен ты
еще не видел. Знаешь, как

воспоминанья, сантименты,
и город — выстрел впопыхах, —
и вся отвага арестанта,
весь пир в измученной стране
бледнеют перед тенью Данта
на зарешеченном окне?

Потянет дымом и моченой
антоновкой. Опять душа
уязвлена, как зверь ученый —
огрызками карандаша,
и на бумаге безымянной,
кушая кончик языка,
рисует пленной обезьяной
решетку, солнце, облака...

Среди миров, в мерцании светил...

Сколько звезд роняет бездонный свет,
столько было их у меня,
и одной хватило на сорок лет,
а другой на четыре дня.

И к одной бежал я всю жизнь, скорбя,
а другую не ставил в грош.
И не то что было б мне жаль себя —
много проще всё. Не вернешь

ни второй, ни первой, ни третьей, ни —
да и что там считать, дружок.
За рекой, как прежде, горят огни,
но иной уголек прожег

и рубаху шелковую, и глаз,
устремленный Бог весть куда.
И сквозь сон бормочу в неурочный час —
до свиданья, моя звезда.

Тихо время утекает, убегает дотемна.
Осетра в бока толкает сернокислая волна.
Но опять в зените года суеверный человек
след пропавшего народа берегами сонных рек,
словно лося или волка ищет, думая слегка,
где шумят болгарка Волга и угорская Ока.

Он зовется археолог, он уверен, говорят,
что отыщет древний волок от Эллады до варяг,
где играл рожок военный, где купец пускался в путь,
и стучал юрод блаженный кулаком в седую грудь,
и сияло ночью пламя берегами, не солгать,
и трещала под ладьями ладно сложенная гать,

чтобы стал он академик, знаменитый меж людей,
дай ему, отчизна, денег на лопаты и на клей —
черепки он будет клеить, вымыв мертвою водой,
и историю лелеять на ладони молодой,
чтоб в рубахе бумазейной любознательный монах
размышлял в тиши музейной об ушедших временах.

...Кто же вступится за нас
в час печали, смертный час?
Богоматерь всех скорбящих,
вот кто вступится за нас.

Кто же будут эти мы,
вопиющие из тьмы?
Всевозможные народы,
вот что значит слово „мы”.

Но зачем же Божья мать
всем им станет помогать?
По любви своей великой,
вот затем и помогать.

Всех, кто верует в Христа
перед снятием с креста,
и неверующих тоже
матерь Господа Христа

от разлуки и беды
поведет в свои сады,
где шумит межзвездный ветер,
в небывалые сады...

Есть одно воспоминанье — город, ночь, аэродром,
где прожектора сиянье било черным серебром.

Наступал обряд отъезда за границу. Говорят,
что в те годы повсеместно отправляли сей обряд —

казнь, и тут же погребенье, слезы, и цветы в руке,
с перспективой воскрешенья в неизвестном далеке,

тряпки красные повсюду — ах, как нравился мой страх
государственному люду с отрешенностью в глазах,

и пока чиновник ушлый кисло морщил низкий лоб —
раскрывался гроб воздушный, алюминиевый гроб.

Полыхай, воспоминанье — холод, тьма, аэропорт,
как у жертвы на закланье, шаг неволен и нетверд,

сердце корчится неровно, легкой крови все равно —
знай течет по жилам, словно поминальное вино, —

только я еще не свыкся с невозвратностью, увы,
и, вступив на берег Стикса в небе матушки-Москвы,

разрыдался, бедный лапоть — и беспомощно, и зло,
сяясь ногтем процарапать самолетное стекло,

а во мгле стальной, подвальной уплывала вниз земля,
и качался гроб хрустальный, голубого хрусталя...

Проплывай, воспоминанье — юность, полночь, авион.
Отзвук счастья и страданья, отклик горестных времен,

где кончалась жизнь прямая в незапамятном раю,
к горлу молча прижимая тайну скорбную свою...

Погас империи бутылочный осколок.
Устал несильный свет в умолкших птичьих школах,

то прозвенит трамвай, то юркий самолет
в безлунных небесах неслышно курс возьмет

на дальний Запад ли, где звезды, словно свечи,
убежища искать от среднерусской речи?

На дальний ли Восток, где так кровав восход?
Ну что замешкался? Чего твой ангел ждет?

О чем поешь, не спишь, покорно пролетая
сквозь время — алое, как ягода лесная?

Тебе, вздыхающему „ато ergo sum”
над сроком, прожитым взахлеб и наобум, —

уже недолго плыть по облачным дорогам,
и с Богом говорить... и расставаться с Богом.

С. К.

Окраина — сирень, калина,
окалина и окарина,
аккордеон и нож ночной.
Кривые яблони, задворки,
враги, подростки, отговорки,
разборки с братом и женой.

Лад слободской в рассрочку продан,
ветшает сердце с каждым годом,
но дорожает, словно дом,
душа — и жителю предместья
не след делиться бедной честью
с небесным медленным дождем,

переживая обложные,
облыжные и ледяные
с утра, двадцатого числа.
Дорогою в каменоломню
ты помнишь радугу? Не помню.
Где свет? Синица унесла.

Устала, милая? Немножко.
В ушах частушка ли, гармошка,
луной в углу озарена
скоропечатная иконка.
Играй, пластинка, тонко-тонко —
струись, сиянье из окна,

дуй, ветер осени — что ветер
у Пушкина — один на свете, —

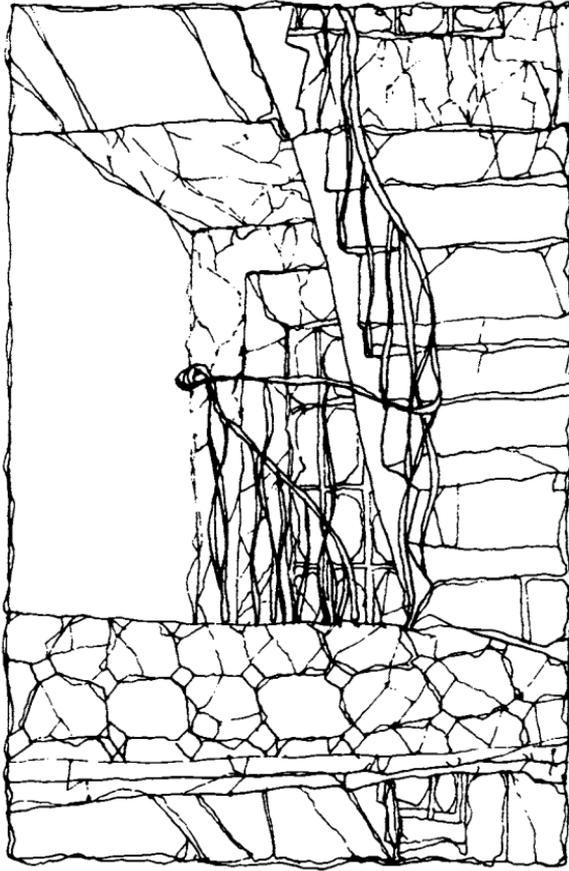
влачи осинový листок
туда, где птицам петь мешая,
зима шевелится большая
за поворотом на восток.

1

От Кремля до цыганского табора,
от Казани до Спасских ворот
на развалинах барского мрамора
говорливый играет народ.
Защитившись усмешкой нехитрою,
черных рук не отмыв от земли,
с неумелою, детской молитвою
копошится в гранитной пыли.

Только там не найти для строительства
ни доски, ни стального гвоздя.
Видишь — временным видом на жительство
помахала душа, уходя
с пепелища — в дождливые улицы,
волглый воздух чужого жилья,
где закат неуверенный хмурится —
обветшала доблесть твоя.

Долга чести доньше не отдано,
и наследство родное давно
то ли пропито, то ли распродано,
разворовано, погребено.
И опять непутевой словеснице
со свинчаткой в бессильной горсти
мыть белье да пожарные лестницы
до последней пылинки мести.



Выживай, выпивай — вот канва и игла,
двадцать лет удивительного ремесла —
чтобы ночью паучьей, пахучей
с неизвестною музыкой накоротке
задержаться у дома с ключами в руке,
и услышать — в невидимой туче

электричеством вывороченным громыхнет,
перекатится эхо, озоном пахнет,
и предместье падет на колени,
и ударит в рябину ленивый разряд,
и лиловыми искрами гроздь взлетят
той, наломанной в детстве сирени.

Отшумела душа, и отгешилась плоть,
но кому же глаза этой правдой колоть,
кто, неспешно листая дневник твой
с середины к началу, увидит, что там
день за днем по пустым проносился листам
волчьей стаей, постом и молитвой?

Не беда, говорит тебе гром, переждем,
чуешь, дрожь молодую под легким дождем,
где отыщешь дорожке подарок?
Отчего же ты спички непрочные жжешь
и, на вспышку сощурившись, не бережешь
парафиновой жизни огарок?

Ничего, кроме памяти, кроме
озаренной дороги назад,
где в растерзанном фотоальбоме
пожелтевшие снимки лежат,

где нахмурился выпивший лишку
беззаконному росчерку звезд,
и простак нажимает на вспышку,
продлевая напыщенный тост. —

мы ли это смеялись друг другу,
цели, пили, давали зарок?
Дай огня. Почитаем по кругу.
Передай мне картошку, Санек.

Если времени больше не будет,
если в небе архангела нет —
кто же нас, неурочных, осудит,
жизнь отнимет и выключит свет?

Дали слово — и, мнится, сдержали.
Жаль, что с каждой минутой трудней
разбирать золотые скрижали
давних, нежных, отчаянных дней.

Так давайте, любимые, пейте,
подливайте друзьям и себе,
пусть разлука играет на флейте,
а любовь на военной трубе.

Ах, как молодость ластится, вьется!
Хорошо ли пируется вам —
рудознатцам, и землепроходцам,
и серебряных дел мастерам?

То эмигрантская гитара,
то люди злые за углом —
душа ли к старости устала
махать единственным крылом?

Запить водой таблетку на ночь,
припомнить древний анекдот...
Знать, Владислав Фелицианыч
опять к рассвету подойдет.

Снимает плащ, снимает шляпу
и невозможный зонтик свой
в прихожей отряхает на пол,
а там, качая головой,

задвижку на окне нашарит,
шепнет: „Зачем же так темно?“ —
и тут же страшный свет ударит
в мое раскрытое окно.

И поднимаюсь я с постели,
подобно Лазарю, когда
встают в подоблачном пределе
деревья, звери, города,

где все умершие воскресли,
где время стиснуто в кулак,
где тяжелы земные песни
в ржавеющих колоколах,

и над железной голубятней
гуляет голубь в вышине —
и день прекрасней и превратней,
чем мнилось сумрачному мне.

Пошли мне, Господи, горенья,
помилуй — бормочу — меня,
не прозы, не стихотворенья,
дай только горького огня —

и умолкаю без усилий,
и больше не кричу во сне,
где у окошка мой Вергилий —
худой, в надтреснутом пенсне.

Да будет каждому по вере.
Гудит продымленный вокзал,
дубовые выходят двери —
куда? И знал бы, не сказал.

Одно известно — не блаженство,
а испытанье, ангел мой.
Грустишь, взыскуешь совершенства,
скользишь меж городом и тьмой —

но даже в дружеской беседе
глядишь в октябрьское окно —
и к звездам волка и медведя
твое лицо обращено.

Пусть вечеру день не верит — светящийся, ледяной,
но левый и правый берег травой заросли одной —
пожухлой, полуживою, качающей головой, —
должно быть, игрец-травой, а может, дурман-травой.

А солнце все рдеет, тая, когда выдыхает „да”
река моя золотая, твердеющая вода,
и мокрым лицом к закату слабеющий город мой
повернут — хромой, горбатый и слепоглухонемой.

И мало мне жизни, чтобы почувствовать: смерти нет,
чтоб золото влажной пробы, зеленое на просвет,
как кровь, отливало алым — и с талого языка
стекала змеиным жалом раздвоенная строка.

Полжизни пройдет в романтических ссорах
с судьбою, да в водке с мороза,
когда и тебе перевалит за сорок —
рассеются поздние слезы,

и молвишь: довольно, служения ради,
испытывать грешное тело...
Белеют страницы старинной тетради.
Белы монастырские стены.

Что ж — отголосили слова, отолгали,
стекает росой по оврагу
бесшумное время расчета с долгами
за уголь, свинец и бумагу.

А воздух, похожий на воду речную,
течет — безоглядный, лиловый, —
покуда молчишь, свою гордость ревнуя
к непрочности шелка земного.

Лишь изредка вдруг пролепечешь на русском
наречии — хриплом, упорном —
о хрупкости, недолговечности, узком
луче между алым и черным.

И был ты писатель, а стал ты проситель,
как нищий у Божьего храма.
Простой человек, муравьиный строитель
любви из подручного хлама.

* * *

Половинка яблока. Первый снег.
Дребезжит, скрежещет усталый век.

Невпопад вопрос, невпопад ответ.
Шелестит за дверью протяжный свет —

это я вернулся к своим трудам —
я устал бежать по твоим следам.

* * *

Что ты на щит черепаший, гадалщик, глядишь?
Что нам сулят эти трещины в черной кости?

Как утомленно гадательный ропщет тростник —
нет, не в огонь им, не в море огромное лечь! —
рвутся в дошкольную землю созвездия книг,
чтобы взойти, обратясь в семиствольную речь,

чтобы выиграть, обрести огнестойкий размер,
и, под конец рассчитавшись с отчизной своей,
вдруг зазвенеть оправдательной музыкой сфер —
несуществующей, как полагал Птолемей.

Так, покрывая издержки судебные лишь
шелестом прошлого неба и потом со лба,
что ты на щит черепаший, гадалщик, глядишь?
Что за рекой зазвучало, какая труба?

Будто черствеющий хлеб тяжелеет в руке,
и оживающим тестом вспухает дежа —
лишь бы дышала душа, на голодном пайке
жаркий язык и лукавые губы держа.

Потому что в книгах старых жизнь ушедшая болит,
всякий миг ее в подарок слух и зренье опалит:
вод рассветных переливы, облысевшая гора,
серебристые оливы голубинога пера.

Но чудней всего на свете это озеро, смотри,
где закидывают сети молодые рыбари,
труд и гордость Галилеи — видишь, средь высоких волн
их добыча, тяжелея, накреняет тесный челн?

Окликает их прохожий неизвестный человек.
Это сын любимый Божий, друг поэтов и калек.
И на тяжкий подвиг — много тяжелее тех сетей, —
он зовет во имя Бога незадачливых детей.

И в пророческом зеркале по грядущим временам
ходят ставшие ловцами и заступниками нам,
в вере твердой, словно камень, с каждым веком наравне
плещут рыбы плавниками в ненаглядной глубине.

Не горюй, не празднуй труса, пусть стоит перед тобой
чистый облик Иисуса в легкой тверди голубой,
пусть погибнуть мы могли бы, как земная красота,
но плывет над нами рыба — образ Господа Христа.

Было: медом и сахаром колотым —
чаепитием в русском доме, —
тонким золотом, жаром и холодом
наше время дышало во тьму,
но над картой неведомой местности
неизвестная плещет волна —
то ли Санкт-Петербург и окрестности,
то ли гамма в созвездии сна —
и окошки пустые распахнуты
в белокаменный вишневый сад,
где игрок в кипарисные шахматы
на последний играет разряд.

Пусть фонарь человека ученого
обнажил на разломе эпох,
что от белого неба до черного
только шаг, только взгляд, только вздох —
пусть над явной космической ямою,
где планета без боли плывет,
золотою покрыт амальгамою
крутокупольной истины свод —
пусть престол, даже ангелов очередь —
но учителя умного нет
объяснить это сыну и дочери,
только свет, улетающий свет.

Вот и всё. Перебитые голени
не срастутся. Из облачных мест
сыплет родина пригоршни соли на
раны мертвые, гору и крест,

Огонь свистящий и шипящий.
Воды кипящей ореол.
Землей могильной рот звучащий
набит до самых альвеол.

И вместо рифмы — парной, пряной —
одни сомнительные сны —
мост тоньше волоса над ямой
непостижимой глубины...

Очнись, не мудрствуя лукаво.
Огонь — огнем, и дымом — дым,
одним — прижизненная слава,
и ясновиденье — другим.

Тень сна с сияньем яви сложим —
увидим снег, и облака
с небесным ангелом, похожим
на паука-крестовика.

Он из земли, из крови влажной
соткал спасительную сеть —
скажи мне, как ему не страшно
в бездонном воздухе висеть?

Бой курантов ежечасный, снегопад в ночи густой.
Гражданин простой и частный смотрит сущим сиротой.

Отшумели годы детства, да и молодость того...
Где оно, его наследство, где уверенность его?

Горек труд его поденный, неспокоен зимний сон,
и очаг во тьме бездонной мокрым снегом занесен.

Только бедным небом тешит он свидетелей в суде,
только медным гребнем чешет в поседевшей бороде,

и в метельных сновиденьях вплоть до раннего утра
все-то грезит суммой денег миллиона в полтора...

Но ему ли — щелкоперу с ручкой вечною во рту —
отдадут по приговору воровство и простоту?

И покрыть дорогу нечем в незабвенный звукоряд,
где редяющие свечи дачной осенью горят.

Хочется спать, как хочется жить,
перед огнем сидеть,
чай обжигающий молча пить,
в чьи-то глаза глядеть.

Хочется жить, как хочется спать,
баловаться вином,
книжку рифмованную читать,
сидя перед огнем.

Пламя трещит, как трещит орех.
Лед на изнанке лет.
Вечной дремоты бояться грех,
и унывать не след.

Грецкий орех, и орех лесной.
Пламя мое, тайком
поговори, потрещи со мной
огненным языком,

поговори, а потом остынь,
пусть наступает мгла,
и за углом, как звезда-польнь,
зимняя ночь бела.

В доме, построенном тобой,
всю ночь гудит нагой —
голубоватый, голубой —
непрошенный огонь,

в твоём доме, как вещей знак,
сосновая доска
скрипит, и щурится сквозняк
чужого языка...

Ах, хватит высохшей скрипеть —
трещать, на помощь звать.
Хотелось жить, хотелось петь,
мурлыкать, напевать.

Но ускользящая речь,
покинув спящий дом,
ржавеет, что булатный меч
на дне, на дне речном...

Ну кто там буйствует, стучит
в закрытое окно —
одно лишь небо, словно щит,
бессильному дано...

Что ты плачешь, современник,
 что ты жалуешься, друг,
на нехватку медных денег,
 на бессмысленный досуг?
Не ходи в кино, не надо,
 водки импортной не пей —
в ней греховный привкус яда,
 горечь дьявольских страстей.

Лучше бережно подумай
 о грядущем, о былом.
Проржавел наш мир угрюмый,
 не пора ль ему на слом?
Не о том ли пел в печали
 прорицатель и мудрец,
что умел в любом начале
 различить его конец?

Твердь разверзнется и треснет,
 зашатается сосна,
плоть истлевшая воскреснет
 от безвременного сна.
Бодрый друг и хмурый враг,
 одолев внезапный страх,
заспешат в высокий город,
 воссиявший на холмах.

Кто взликует, кто заплачет,
 кто утрет предсмертный пот, —

и земля, как легкий мячик,
с траектории сойдет,
и пятном на звездной карте,
излучая мягкий свет,
понесется в бильярде
неприкаянных планет —

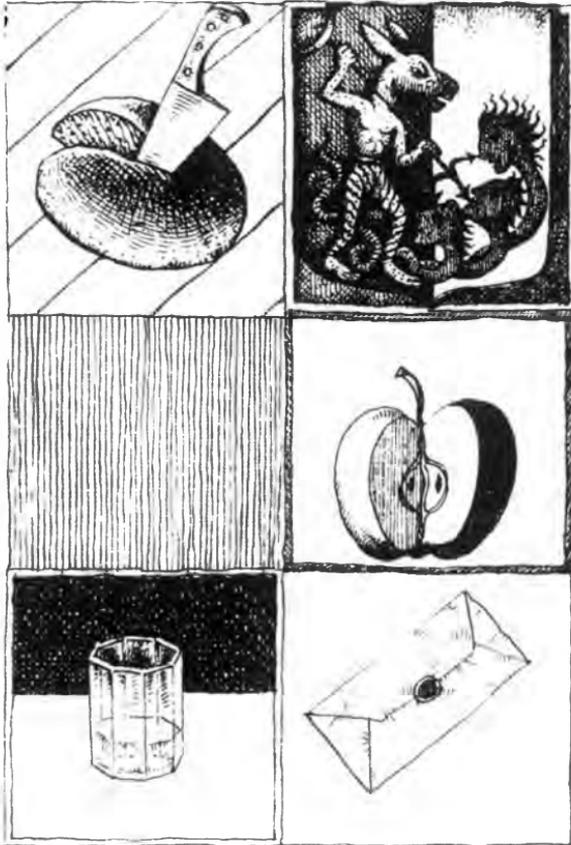
что же станет с плотью бедной?
Верно, вечной станет плоть,
так в любви своей безмерной
наградит ее Господь —
а земля всё стынет, стынет,
спит пророк, приняв вина.
Ветер зябнущей пустыни,
месяц, камни, тишина...

Ну и что с того, что дышать отвык,
что чужим останусь в родной стране?
Посмотри, как корчится черновик,
польхая в черном, в ночном огне.

То ли буквы — искрами в высоту?
То ли стенам тесно от сонных звезд?
Ах, не все-то масленица коту,
настает ему и великий пост,

настает расплата за светлый грех —
усмехнись в ответ и смолчать сумей.
Может, в жизни главное — трепет век,
перелет зрачка, разворот бровей.

И за эту плоть, за тепло, за смерть
расплатиться буйною головой,
чтобы много пить, чтобы мало петь,
захлебнувшись радугой кочевой...







МЕЖДУ СНОМ,
ВДОХНОВЕНЬЕМ
И БЕГОМ

С каменного обрыва ты видишь сад
не корабля, не рыбы, не жизни — нет,

ввется кипучий след, белопенный лес
темной волны, бегущей наперерез

не голубому Богу и даже не
ветру и сердцу, а просто другой волне.

Был этот хлеб горяч, и горчичник жгуч.
Проговорившись, щурясь на медный луч,

скажешь, что море в сумерках пятый год
мойвой сырою пахнет и йодом жжет.

Здесь ли под утро пекарь с одной женой
дрожжи мешал сухие с мукой ржаной?

Так и уходит голос туда, где печь
пышет и ропщет, тщась превратиться в речь,

где на полене щедро кипит смола —
под топором лоза, и во рту зола...

С. Г.

Допустим вот какой курбет. Поэт садится за обед.
Пред ним дымится миска супа. Но горек чай, и даже хлеб,
как праздный вымысел, нелеп. Как трудно, Господи, как глупо.

И так мучительно зане брести в прохладном полусне,
стирая с сердца капли пота. Когда же выпить он решит,
то вспомнит, что подшит. К тому же — срочная работа.

Что ж, прогуляемся, пиит. Пропах капустой общепит,
вороны медленно летают, полны бананами ларьки,
и разбитные игроки шары наперстками катают.

Сказать бы: how do you do, младое племя, но, к стыду,
с жаргоном нового Чикаго он не в ладах, немолодой
мужик с немодной бородой. Четвертый том „Архипелага”

он на прилавке пролистнет, зевнет, прикрыв ладонью рот,
и головой качнет в печали, и замурычет древний стих,
огней так много золотых, а может, дни короче стали.

Нет, дни становятся длинней (хотя осталось мало дней),
зима, что дамочка седая, от Профсоюзной до Тверской
глядит с усмешкой ведьмовской, на детских косточках гадая.

И всё же — здравствуй, племя. Hi! Вдыхай писатель,
не вздыхай,
но женских трусиков навалом — так рассуждает он, кривясь
на возникающую связь времен, чахотки с карнавалом.

Так рассуждает он, изгой, нимало участи другой
себе не требуя, взирая на крошки хлеба, снег, нарцисс
в снегу, на облако, карниз. Замерзла Яуза от края

до края. Вьется через град восьмисотлетний и назад
не возвращается — ни речью, ни хриплым возгласом часов
не потревожит мертвых снов трамвайного замоскворечья.

Что ж, посидим, поговорим. Здесь всякий март неповторим,
и сладко расходиться с пира, когда в снегу полны воды,
вокзальной музыки следы в проулках города и мира.

На небе звезда, под землей провода,
от Господа — слезы да пот.
Беги, моя ночь, неизвестно куда
лучами почтовых хлопот.

И бродит по площади, плачет вотще
подобие ангела в сером плаще —
спускается к пристани, ходит за мной
и горло полощет водой ледяной.

Исконный уродец в небесной семье,
куда и зачем он зовет?
Считать ли созвездия в черном ручье,
где мертвая рыба плавает?

Но долго еще, повинуюсь ему,
в зачет своего ремесла
ты тщишься холщовую сдвинуть суму,
которая в землю вросла, —

и вновь просыпаешься, беден и наг,
где Бог свои руки простер,
где город стоит на холмах, на волнах
скалистых, оскаленных гор...

Мартс — для боевого пира,
для отмщения Зевес,
Аполлон — для звонкой лиры,
для таинственных словес.

Повторимся: Мартс для крови,
для дымящейся окрест,
Афродита для любви,
и для ревности Гефест.

И питомцу Аполлона
помогает славный Вакх
припадать к ночному лону
страсти, спрятанной в словах.

Страсть божественная эта
торжествует и поет,
на заросший берег Леты
жертву робкую ведет.

И не любит, и не губит —
просто рощу наугад
человеческую рубит,
щепки в стороны летят.

Время течет неслышно, а жизнь — журча.
Что-то неладно вышло с игрой луча
в первом ручье, втором ли, но — ни огня,
ни темноты не помню. Не жди меня.

Шепот в воде кромешной молчит, дрожит,
время течет неспешно, а жизнь бежит,
не понимая, что там — светла, слаба,
льется бескровным потом с крутого лба.

И полетит окольной листве вослед
скомканный в беспокойной руке билет —
спутаны час и дата, не плачь, жена,
время еще богато, лишь жизнь бедна.

Такая удивительная высь,
что хочется вздохнуть: остановись,
мгновенье, ненаглядно, непослушно...
Но охлаждает горло сладкий страх,
и странный ястреб, с горлицей в когтях
проносится вдоль пропасти воздушной,

и набухают в небе облака,
подобно хлебу в чашке молока,
и достигают горы, цепenea,
пускай не звезд, но гиблой пленки той,
что делит мир на полный и пустой.
Молчит земля, как мертвые под нею.

И, недоверчив, щурится на свет
безвестный путник, зная — места нет
в степях ни чудотворцу-иудею,
ни эллину с монеткою во рту.
А горы открывают наготу,
мыча, крича, собою не владея,

как будто дух серебряной руды
нацелил в них кровавые следы,
как будто ртуть из скального провала
готова литься, литься без конца,
пока невеста с темного лица
на улице не снимет покрывала.

Горел костер, и я в нем пальцы грел,
и в небеса безлюдные смотрел,

и неся в них, и всхлипывал на взлете
сквозь облака, сквозь невозвратный зной,
листая книгу горечи степной
в косноязычном русском переплете.

Выйдем в город — полночь с нами,
фонари почти тайком
разбегаются кругами
в тесном центре городском,

надоело спорить с роком,
пить зеленое вино,
в высоте из многих окон
молча теплится одно.

Там ли, чудно озабочен
лунной тенью на стене,
тихий бодрствует рабочий
на измятой простыне?

Непомерной смерти грузчик,
он один в своем труде
в океане звезд, текущих
с горизонта и везде.

Шелест листьев в переулке,
запах хлеба и земли.
Только слышен долгий, гулкий
шепот Господа вдали,

мглистый голос без причины,
предпоследняя глава,
лишь слова неразличимы,
неразборчивы слова...

4 янв. 1993 г.

Вот и февраль побрел по промерзшим селам.
Перья роняет ворон. Трещат поленья
под топором. Потеря моя уколом
совести жалкой, нищего вдохновенья

не обернется больше, по зимним чащам
не воплотится эхом в прохладном слове.
Мертвая белка на хрустком снегу слепящем,
и на губе закушенной — капля крови.

Словно в старинной байке о фунте мяса,
мой ежедневный путь — к водокачке, к чистой
станции за дорогой, где магазин, сберкасса
и перебор безногого гармониста.

Встанешь ли в очередь, приобретешь газету,
бьешь ли челом, зеваешь, бредешь в тумане
площадью привокзальной — безмолвную песню эту
мне ли не знать. И мелочь бренчит в кармане.

Лишь астроном печальный, к трубе любовно
глазом припав, внезапно протянет руки
к невыносимой выси, заплакав, словно
он не поклонник ночи, не человек науки...

На утесе, размышляя, наблюдал я бездну вод,
где плыла акула злая и зубастый кашалот,
где, по верному рассказу, трудно людям ночевать,
можно только водолазу в медном шлеме бытовать.

Не промолвил я ни слова, свой восторг в душе храня.
Расстирался бор еловый за спиною у меня,
чайка белая летела, красовался гриб во мху,
солнце ясное сияло, словно люстра, наверху,

в мире, созданном искусно, где уместен волк и лось...
И возвышенное чувство в организме поднялось.
Сколько есть различных тварей, еле влезших в тот ковчег!
Кто над всеми государит? Царь природы — человек.

Но судьбу его живую контролирует другой,
и царем не назову я человека, лишь слугой.
С гор крутых катятся камни, властной сброшены рукой,
и давно велит судьба мне удалиться на покой.

Так грустил я в захолустье, над лиловой бездной вод,
но не сдался данной грусти, а совсем наоборот —
тем и славится природа, что красою во сто крат
укрепляет дух народа, как Гораций и Сократ,

как Вергилий и Гораций, сочиняющие впрок,
затверди, любимец граций, мироздания урок,
пусть в капкане волк рыдает, пусть акула ест треску, —
мудрость жизни побеждает всю вселенскую тоску.

И безнадежней всё, и проще —
вот дождь, которому нужна
одна березовая роща,
простуда, осень, тишина.

Дороги развезло. Темнеют
пустые церкви по холмам,
и жизнь вот-вот оцепенеет,
на незатейливый роман

похожа, где герой спросонья
в пустыне мечется мирской,
там, где под утро крупной солью
снежок посыпан городской,

и не в пустыне, а на узкой
постели, не в снегу — во сне,
на пропотевшей простыне,
всё рвется, словно в сказке русской

дойти в железных сапогах
туда, где лезвием кинжала
река замерзшая лежала
в лесистых, черных берегах...

Спят мои друзья в голубых гробах. И не видят созвездий, где тридцатитрехлетний идет рыбак по волнующейся воде.

За стеной гитарное трень да брень, знать, соседа гнетет тоска.
Я один в дому, и жужжит мигрень зимней мухою у виска.

Я исправно отдал ночной улов перекупщику и притих,
я не помню, сколько их было, слов, и рифмованных и простых,
и на смену грусти приходит злость — отпусти, я кричу, не мучь —
но она острее, чем рыба кость, и светлее, чем звездный луч.

Попробуй душой нищать, как велит завет.
Одни умеют прощать, а другие нет,
но только один благодати изведал вес,
ладонью стирая смерть с молодых небес.
Он ведал беду и чудо, он знал красу
рассветной пустыни и женскую наготу,
повешен на ветхом древе, подобно псу,
воскрес и увидел звезды — одну звезду.

А мы — из другого мира полей, кладбищ,
гвоздик на могилах близких, дурной воды.
Не всякий, кто ищет счастья и телом нищ,
в апрельском снегу оставит свои следы.
Как пес бессловесной мордой устался на луну,
живущий двуногой тенью стучится к себе домой,
нищая душою гордой, отходит к иному сну,
которому пробужденье несвойственно, ангел мой.

Прощание и прощенье, раствор пригвожденных рук
Трещит на дворе костер, а вокруг темно.
Не явится после свадьбы безвестный друг,
который болотную воду умел превращать в вино.
Зальешь ли костер, услышишь ли ложный свист
разбойника-ветра, суглинок, песок, подзол, —
пустынная пыль покрывает бумажный лист
да звездною молью трачен безмолвный взор.

Есть в природе час, а вернее, миг,
в ноябре, под утро, когда в провалах
подворотен, в месиве сгнивших книг
все, что было, будет и миновало,

вдруг твердеет, схватывается, горя
серебром отчаянной, мертвой ночи, —
это время, черное, как заря,
никого не ждет, ничего не хочет.

И когда не люб ни огонь, ни гроб —
мухи белые на стекле оконном —
прислони к нему толоконный лоб
и за вьюжным высмотришь частоколом —

там один на один с шутовской Тверской
пожилой господин прописных и строчных
просыпается, словно песок морской
из разбитых часов песочных,

беспокойный город, гранитный сад,
видит злые сны в ледяной постели.
Остывает солнечный циферблат,
и любовь уже не отбросит тени.

Куда как крутое место, приют окрестной
шпаны. На краю стакана щепотка соли,
да всласть громыкает румбой лихой оркестрик
и чем-то еще из поздних тридцатых, что ли.

На старости лет, вероятно, смутишься вряд ли
испариной голых спин или криком скрипки,
но льется еще прерывистый свет по капле
из звезд похудевших, тонких сквозь воздух зыбкий.

И, голову остужая холодной водкой,
вдруг вспомнишь, что слово дышит своим порядком,
что жизнь остается долгой, а смерть — короткой,
как глина бывает длинной, а камень — кратким.

Что делать нам (как вслед за Гумилевым чуть слышно повторяет
Мандельштам) с вечерним светом,
алым и лиловым?

Как ветер, шелестящий по кустам орешника,
рождает грешный трепет, треск шелковый
и влажный шорох там,

где сердце ослепительное лепит свой перелетный труд,
свой трудный иск, — так горек нам
неумолимый щебет

птиц утренних и солнца близкий диск — что делать нам с базальтом
под ногами (ночной огонь
пронзителен и льдист),

что нам делить с растерянными нами, когда рассвет
печален и высок? Что я молчу,
о чем я вспоминаю?

И камень превращается в песок.

Гадальщик на кофейной гуще, он знал, что дни его долги,
и говорил, как власть имущий, и мне советовал — не лги
и не ищи иного смысла в житье, чем тот, что Бог и бес
влагают, как простые числа, в хитросплетения словес.

Он не достиг земного рая. Он рано умер, и вдова,
его бумаги разбирая, искала главные слова,
те самые, одни из тысяч, чтоб вспомнить, словно о живом,
чтоб их уместно было высечь на тяжком камне гробовом.

Я помогал ей (это длилось дня два), но ни одна строка
не подошла. Лишь сердце билось, да расплывались облака
в неверном небе Подмосковья. Нет эпитафий никому.
Любовь рифмуется с любовью, а голос — с выстрелом во тьму.

И молча я промолвлю: что нам живая речь и смертный стыд?
Над раскаленным Вашингтоном светило тяжкое висит,
огнем граненым, сном багровым асфальтовая спит заря,
но не выдерживает слово цепей земного словаря.

Я шагал с эпохой в ногу, знал поэтов и певцов,
знал художников немного и известных мудрецов.
Рассуждал о коммунизме, о стихах, о смысле жизни
или шахматной игрой с ними тешился порой.

И не просто для забавы эти творческие львы
говорили мне, что слава слаще меда и халвы, —
что в виду они имели, сочиняя эту речь,
олимпийцы, чем хотели друга скромного увлечь?

Слава — яркая заплата. Это Пушкин написал.
Но она же и зарплата, и шампанского бокал.
Был я полностью согласен и завистливо глядел,
представлялся мне прекрасен этот радостный удел.

Но успешно миновала юность робкая моя.
И давно забочусь мало о таких моментах я.
Больше нет советской власти, лишь доносится в ночи:
не ищи, бахытик, счастья, легкой смерти не ищи.

Даже слава — только слово, уходящее во сне,
вроде саши соколова по серебряной лыжне,
вроде рюмки алкоголя, вроде флоксов на столе —
вроде ветра в чистом поле в вологодском феврале...

Пожилой магистр ледяных наук
узнает спокойный декабрьский свет
и архивный прах отряхает с рук.
Гляциолог или мерзлотовед,

он опустит взгляд и очки протрет,
бросив мглистый голос иголкой в стог
в городок, где снег, что несладкий мед,
и бумага, словно сухой листок.

Под окном таверна, а в ней вина
хоть залейся. Водки налив на лёд,
там подруга другу еще верна,
и поет, и пьет молодой народ.

На дворе метель. И она права.
Снег слетает в море — и ты молчи.
Замерзают в мире твои слова,
и горит береза, одна в ночи.

Переживешь дурные времена,
хлебнешь вины и океанской пены,
солжешь, предашь — и вдруг очнешься на
окраине декабрьской ойкумены.

Пустой собор в строительных лесах.
Добро в мешок собрав неторопливо,
с морской солью в светлых волосах
ночь-нищенка спускается к заливу.

Ступай за ней, куда глаза глядят,
расплачиваясь с шорохом прибоя...
Не здесь ли разместился зимний ад
для мертвых душ, которым нет покоя,

не здесь ли вьется в ледяной волне
глухой дельфин и как-то виновато
чадит свеча в оставленном окне?
Жизнь хороша, особенно к закату,

и молча смотрит на своих детей,
как Сириус в рождественскую стужу,
дух, отделивший мясо от костей,
твердь — от воды и женщину от — мужа.

Кто житель, кто жилец, кто, вены отворив,
спустив дурную кровь, лежит — и слаб, и тонок —
в купели высохшей и думает, что жив
неверной ревностью, как куклою — ребенок,

кто в сердце города, где, уходя в тоннель,
грохочет грузовик, кто в пригороде сером,
где состязаются — которое темней? —
окошки низкие, где отсыревшим сеном,

простывшим деревом, испариной дождя,
и влажный ветерок болезнен, драгоценен...
Огонь керосиновый, волнуясь и чадя,
дрожит, скрипучую вылизывая темень.

Горящий Бог весть где, сорвавшись с языка,
поворотив лицо к пробоинам небесным,
ты думаешь, что жизнь — всего одна строка,
единственный канат, протянутый над бездной.

И если всякий крест перекрывает рост
казнимого, — войдет в безветренные кущи
предвечный человек, любовник вязких звезд,
живущий Бог весть как, но все-таки живущий.

Блажен, кто сумрачен и сир, кого суровый Бог
небесной манной накормил и ночью бездыханной
по дну морскому проводил к земле обетованной.
Блажен, кто навестил сей мир во времена тревог —
семь было казней, семь чудес, любовью было восемь,
и ветер рвет, и рдеет лес, и наступает осень.

Заветный лист влетает в дом. Студеное вино
соленым отликает льдом, темно, искажено.
Тебя подруга теревит — ну что ты там заметил?
А ты увидел сквозь стакан, что жизни скудный труд —
как бы октябрьский океан, как мутный изумруд —
и безотраден, и забыт, и гибелен, и светел.

Была ли первая, настанет ли вторая —
так повторять, полжизни отворяя
замок промерзший (помнишь этот скрип?)
И оттепель, и гулкий крик вороний?
Стоял февраль в вольфрамовой короне,
заиндевела ветви черных лип,

отлиты в кристаллическом металле,
безгласные, томились и шуршали,
метель шумела, помнишь?), двадцать лет
спустя, не убиваясь, не ревнуя,
тугую ручку повернуть дверную —
поставить чай, включить настольный свет

и вслух, стесняясь русского акцента,
прочесть статейку в „Тайме“, где проценты
подсчитаны: едва не шестьдесят
из ста американцев верят свято,
что в воздухе — юны, подслеповаты,
голубоглазы — радостно висят

как бы игрушки с елки новогодней,
но — ангелы, прислужники Господни,
прекрасен снег рождественский на их
больших крылах, безгрешно и легко им,
но лишь один, угрюм и недостойн,
в вечерний час к душе моей приник.

Двоякодышащий, незрячий, брюхоногий,
он в полусне, в бездейственной тревоге

на дне морском лежит наедине
с бессмертием постылым, раскрывая
тугие створки, молча созывая
друзей своих в подспудной тишине.

Не человек, не полубог, не птица —
нет у него надежды откупиться
от вечной казни, сини, белизны
неутомимых волн над головою,
в иной среде, где воздух и живое
движение, где светлые сыны

эфира молодого — белой стаей
играют в небе — падая, взлетая,
и среди них, смеясь, его двойник,
летучее распластывает тело,
и в вороненой прорези прицела
трепещут крылья каждого из них.

Где гудок паровозный долог, как смертный стон,
полосой отчужденья мчатся Бог весть откуда —
мне пора успокоиться, руки сложив крестом,
на сосновой полке, в глухом ожиданье чуда.

Побегут виденья, почудится визг и вой —
то пожар в степи, то любовь, будто ад крошечный.
Посмотри, мой ангел, в какой океан сырой
по реке времен уплывает кораблик грешный,

и пускай над ним, как рожок, запоем строка,
и дождем отольется трель с вороним отливом —
и сверкнет прощанье музыкой языка,
диабетом, щебетом, счастьем, взрывом —

словно трещина входит в хрустальный куб.
Рельс приварен к рельсу, железо — к стали.
Шелести, душа, не срываясь с губ,
я устал с дороги. Мы все устали.

Так горек голос твой, тихоня, проводник
то света грешного, то ненависти нежной,
то проповедует, что не для нас одних
страсть обезвожена и старость неизбежна.

Тебе, единственной, шепчу, забывши стыд:
не прогоняй меня, прости меня, сестрица,
ты видишь — радуга над городом висит,
за сердце держится, грядущего боится.

Не от ее ль дуги еще Орфей сходил
в насмешливый аид, на жалкий поединок?
И семь ее цветов сливаются в один,
и ослепляют взгляд, горя в весенних льдинах.

Сколько можно лететь от любви до любви,
будто санки с заснеженной горки,
сколько было пощады, и ревности, и
недоверчивой скороговорки!

Бог простит и другие пожалует дни,
только чем расплатиться за это?
Мы с тобою одни — совершенно одни
перед Богом иного завета.

От взоров ревностных, чужих ушей-воров
ты долго бережешь, заносчив и спокоен,
коллекцию ключей от проходных дворов,
проломов, выемок, расщелин и промоин.

Томится Млечный путь, что мартовский ручей,
а жизнь еще мычит, и ластится, и хнычет —
коллекцию ключей, коллекцию ночей,
любовно собранных, бесхитростных отмычек.

Не с ними ли Тезей, вступая в лабиринт, —
свеча ли вдалеке иль музыка горела? —
легко ль надеяться, когда душа болит,
на сыромятный щит и бронзовые стрелы?

Зачем ему сирен сырые голоса,
когда он час назад простился с Ариадной?
Пусть ветер черные наполнил паруса
иной мелодией — невнятной и прохладной,

но крыши нет над ним — проговорись, постой,
и, голову задрав, вновь дышишь Млечным, трудным
путем — а он лежит в обнимку с пустотой,
как будто брат с сестрой в кровосмешенье чудном.

Св. Кековой

Для чего радел и о ком скорбел
угловатый город — кирпичен, бел,
черен, будто эскиз кубиста?³
Если лет на двадцать присниться вспять —
там такие звезды взойдут опять
над моей страной, среди тьмы и свиста.

Там безглазый месяц в ночи течет,
и летучим строчкам потерян счет,
и полна друзьями моя квартира.
Льется спирт рекой, жаль, закуски нет,
и красавец пригов во цвете лет
произносит опус в защиту мира.

Если явь одна, то родную речь
не продать, не выпить, не сбросить с плеч —
и корысти нет от пути земного,
потому что время бежит в одном
направлении, потому что дом
развалившийся не отстроить снова.

На прощанье крикнуть: я есть, я был.
Я еще успею. Я вас любил.
Обернуться, сумерки выбирая, —
где сердечник бродский, угрюмства друг,
выпускал треску из холодных рук
в океан морской без конца и края.

И пускай прошел и монгол, и скиф
духоту безмерных глубин морских —

есть на свете бездны еще бездонней,
но для Бога времени нет, и вновь
будто зверь бездомный дрожит любовь,
будто шар земной меж его ладоней.

Если жизнь еще жива, что наслаивать слова
обнаженной зыбкой ранью, что их сыпать, как горох,
если даже четырех слишком много для признанья?

Сквозь весенний ясный лес поспешает Ахиллес,
черепашу догоняя, а за ним старик Зенон,
а за ним — душа больная в темном мареве земном.

С книгой, с панцирем, с копьем, после схватки воду пьем,
спим в дому своем огромном, лишь отставшая душа,
поминальный хлеб кроша, дышит воздухом заемным.

Кто простил, а кто устал. Небо — кованный металл,
гибкое и голубое. Повтори мне эти три
слова — снова повтори — и еще — Господь с тобою.



Мудрец и ветреник, молчальник и певец,
всё — человек, смеющийся спросонок,
для Бога — первенец, для ангелов — птенец,
для Богородицы — подброшенный ребенок.

Еще звезда его в черешневом вине —
а он уже бежит от гибели трехглавой
и раковиной спит на океанском дне —
не злясь, не торопясь, не мудрствуя лукаво,

один, или среди шального косяка
плоскоголовых рыб, лишенных языка,
о чем мечтаешь ты, от холода немея,
не помня прошлого и смерти не имея?

Есть в каждой лестнице последняя ступень,
есть добродетели: прощенье, простодушие,
и флейта лестная, продольная, как день,
племянница полей и дудочки пастушьей.

Легко ей созывать растерянных мирян —
на звуковой волне верша свою работу,
покуда воздух густ, и сумрачным морям
не возмутить в крови кессонного азота.

Еще любовь горчит и веселит,
гортань хрипит, а голова болит
о завтрашних трудах. Светло и мглисто
на улице, в кармане ни копыя,
и фонари, как рыба чешуя,
полуночные страхи атеиста

приумножают, плавая, горя
в стеклянных лужах. Только октябрю
нам не хватало, милая, — сегодня
озябшие деревья не поют,
и холодком нездешним обдают
слова благословения Господня.

Нет, если вера чем-то хороша,
то в ней душа, печалюсь, греша,
потусторонней светится заботой —
хмельным пространством, согнутым в дугу,
где квант и кварк играют на снегу,
два гончих пса перед ночной охотой.

И ты есть ты, тот самый, что плясал
перед ковчегом, камешки бросал
в Москва-реку, и злился, и лукавил.
Случится все, что было и могло, —
мы видим жизнь сквозь пыльное стекло,
как говорил еще апостол Павел.

Ты не развяжешь этого узла —
но ляжет камень во главу угла,

и чужероден прелести и мести
на мастерке строительный раствор,
и кровь кипит неверным мастерством,
не чистоты взыскующим, а чести.

Откроешь дверь: ночь плывет во тьме, и огоньком сияет на холме
ее густой, благоуханный холод.

Два счастья есть: паденье и полет. Все — странствие,
тончайший звездный лед
неуголимым жерновом размолот.

и снится мне, что Бог седобород, что твердый путь уходит от ворот,
где лает пес, любя и негодуя,
что просто быть живым среди живых, среди сиянья капель
дождевых,
как мы, астящих в землю молодую.

Безветрие — и ты к нему готов среди семи светил, семи цветов
с блаженной пустотой в спокойном взоре,
но есть еще преддверие грозы, где с Лермонтовым спорит
Лао-цзы,
кремнистый и речной, гора и горе.

Есть человек, печален и горбат, необъяснимым ужасом богат,
летит сквозь ночь в стальном автомобиле,
отплакавшись вдали от отчих мест, то водку пьет, то молча
землю ест,
то тихо просит, чтоб его любили.

Еще осталось время, лунный луч летит пространством,
замкнутым на ключ, —
ищи, душа, неверную подругу,
изгнанницу в цепочке золотой, кошачий шепот музыки простой,
льни, бедная, к восторгу и испугу...

Никто не зайдет в этот вечер за мной, на лоб не положит ладонь.
Проходит последний трамвайчик речной беззвучной студеной водой.

Росистые поручни, группа „Любэ” в хрипящем динамике. Что ж,
когда бы душа воротилась к тебе — но вряд ли беглянку зернешь.

Кто с нею простится, нальет ей вина — а я в одиночестве пью —
когда с виноватой улыбкой она в иную садится ладью.)

Я все потерял, ничего не пойму, но есть же заботливый тот,
кто ласково смотрит в безбрежную тьму и камень на землю кладет —

и я застываю, уверенный в нем, свободном от волчьих обид,
и тополь бессмертный шумит под окном — как зимнее море, шумит...

Если творчество — только отрада,
и вино, и черствеющий хлеб
за оградой райского сада,
где на агнца кидается лев,
если верно, что трепет влюбленный
выше смерти, дороже отца —
научись этот лен воспаленный
рвать, прясти, доплетать до конца...

Если музыка — долгая клятва,
а слова — золотая плотва,
и молитвою тысячекратной
монастырская дышит братва,
то доньне по северным селам
бродит зоркий рыбак-назорей,
запрещающий клясться престолом
и подножьем, и жизнью своей.

Над Атлантикой, над облаками,
по окраине редких небес
пролетай, словно брошенный камень,
забывая про собственный вес,
ни добыче не верь, ни улову,
ни единому слову не верь —
не Ионе, скорее Иову
отворить эту крепкую дверь.

Но когда ты проснешься, когда ты
выйдешь в сад, где кривая лоза,

предзакатным изъяном объята,
закипает, как злая слеза,
привыкай к темноте и не сразу
обрывай виноградную гроздь —
так глазница завидует глазу,
и по мышце печалится кость.

Юность в зарослях болиголова,
среди папоротниковых ростков,
лаконична, как строчка Цветкова —
но давно уж не пишет Цветков.
Вечерами в седеющем поле
валуны холодны и темны.
И пока о покое и воле
влажный глас уходящей волны,
там, вдали от бегов, винокурен,
голубей и любовных забот,
кварцу-деду базальтовый шурин
о бессмертии что-то поет.
Не надгробный, скорее точильный
каменеющей почвы аккорд
золотой немотой пересилен
и серебряным щебетом горд —
только слово уже не взорвется,
не взовьется иглой с языка,
и морская вода первородства
будто дикая вишня, горька.

Не гляди под вечер в колодец минувших лет —
там еще дрожит раскаленный, летучий след
отдаленных звезд, дотлевающих в млечной Лете,
да кривое ведро на ржавеющей спит цепи,
и дубовый ворот, что ворог, скрипит: терпи,
и русалка влажные вяжет сети.

Если даже вода, как время, дается в долг,
то в сырую овечью шерсть, в небеленый шелк
завернись, как гусеница в июле.
Не дойдя до главной развилки земных дорог,
человек от печали вскрикнет, умрет пророк.
Только Бог останется — потому ли,

что однажды в кровавой славе сошел с креста
(не гляди в пустынный колодец, где ночь густа),
и хулу на него, что курок, взводили?
Посмотри на юго-восток, где велик Аллах,
где спускается с неба друг о шести крылах,
чтобы встать на колени лицом к Медине.

Как недобро блещет на солнце его броня!
И покуда кочевник молит: не тронь меня,
у него огня и воды достанет
для семи таких: будто нож, раскаленный щуп
опускает он в обгорелый, забытый сруб,
чтобы вспыхнула каждая связка в твоей гортани.

Быть может, небылица или забытая, как мертвый, быть — дорога светится, дымится, легко бежит автомобиль — смешной, с помятыми крылами, вернее, крыльями, пыля водой разбросанной. Под нами сырая, прочная земля — но все-таки листва сухая колеблется, а с ней и мы. Октябрь, по-старчески вздыхая, карабкается на холмы страны осиновой, еловой, и южный житель только рад на роццу наводить по новой жужжащий фотоаппарат. Ах, краски в это время года, кармин, и пурпур, и багрец, как пышно празднует природа свой неминуемый конец! Лес проржавел, а я слукавил — или забыл, что всякий год, как выразился бы Державин, вершится сей круговорот, где жизнь и смерть в любви взаимной сплетают жадные тела — и у вселенной анонимной в любое время несть числа кленовым веткам безымянным и паукам, что там и тут маячат в воздухе туманном и нить последнюю плетут... Здесь пусто в эти дни и тихо. Еще откроется сезон, когда красавец лыжник лихо затормозит, преображен сияньем снега, тонкий иней на окна ляжет, погоди — но это впереди, а ныне дожди, душа моя, дожди. Поговорим, как близким людям положено, вдвоем побудем и в бедном баре допоздна попьем зеленого вина — кто мы? Откуда? И зачем мы, ментоловый вдыхая дым, неслышно топчем эту землю и в небо серое глядим? Ослепшему — искать по звуку, по льду, по шелесту слюды свободу зимнюю и муку. От неба — свежесть. От беды — щепотка праха. Ну и ладно. Наутро грустно и прохладно. Быль, небыль, вздыбленная ширь, где сурик, киноварь, имбирь...

Я знаю, чем это кончится, — но как тебе объяснить?
Бывает, что жить не хочется, но чаще — так тянет жить,
где травами звери лечатся, и тени вокруг меня,
дурное мое отечество на всех языках кляня,
выходят под небо низкое, глядят в милосердный мрак;
где голубь спешит с запискою, и коршун ему не враг.

И все-то спешит с депешою, клюет невесомый прах,
взлетая под небо вешнее, как будто на дивный брак,
а рукопись не поправлена, и кляксы в ней между строк,
судьба, что дитя, поставлена коленками на горох,
и всхлипывает — обидели, отправив Бог весть куда —
без адреса отправителя, надолго ли? Навсегда...

Засыпая в гостинице, где вечереет рано,
где в соседнем номере мучат гитару спьяну,
слишком ясно видишь, теряя остатки хмеля:
ты такой же точно, как те, что давно отпели,
ты на том же лежишь столе, за которым, лепешку скомкав,
пожирает безмозглый Хронос своих потомков.

Свернут в трубочку жесткий день, что плакат музейный.
Продираясь лазейкой, норкою муравейной,
в тишине паучьей, где резок крахмальный шорох,
каменеет время, в агатовых спит узорах,
лишь в подземном царстве, любви достигнуть дабы,
Кантемир рыдает, слагая свои силлабы.

Засыпая в гостинице с каменными полами,
вспоминаешь не землю, не лед — океан и пламя,
но ни сахару нет, ни сыру полночным мышкам.
Удалась ли жизнь? Так легко прошептать: не слишком.
Суетился, пил, утешался святою ложью —
и гремел трамвай, как монетка в копилке Божьей.

Был один роман, в наше время таких уж нету,
там герой, терзаясь, до смерти стремился к свету.
Не за этой ли книжкой Паоло любил Франческу?
Сквознячок тревожит утлую занавеску,
не за ней ли, пасьянс шекспировский составляя,
неудачник-князь поминает свою Аглаю?

Льется, льется безмолвных звезд молодое млеко
з вокруг него — черный и долгий, как холст Эль Греко,

на котором сереют рубахи, доспехи, губы,
и воркует голубь, и ангелы дуют в трубы,
и надежде еще блестеть в человеке детском
позолотой тесной на тонком клинке толедском,

а еще — польхает огненным выход тихий
для твоей заступницы, для ткачихи,
по утрам распускающей бархат синий.
Удалась ли жизнь? Шелестит над морской пустыней
не ответ, а ветер, не знающий тьмы и веры,
выгибая холщовый парус твоей триеры.

Не говори, что нем могильный холм, —
любая жизнь закончится стихом,
любую смерть за трешку воспоет
кладбищенский веселый доброхот.
А мастер эту надпись поместит
на твой цемент, а может, на гранит,
и две надломленных гвоздики на
него положит скорбная жена...

Не уверяй, что скучен путь земной, —
дай руку мне, поговори со мной,
как Аполлон Григорьев у цыган
угар страстей цветастых постигал,
солдатскую гитару допоздна
терзая в плеске хлебного вина, —
и Фет рыдал, и ничего не ждал,
и хриплый хор его сопровождал.

О если б смог когда-нибудь и я,
в трехмерный храм украдкой пройдя,
всю утварь мира перепрятать — так,
чтоб лишь в узоре окон тайный знак
просвечивал — не пеной, не волной, —
паучьей сетью, бабочкой ночной,
и всякий век, куда бы он ни вел,
заклятием и заговором цвел!

То сердце барахлит, то возле рта
морщина, будто жирная черта

под уравни́ем — только да́вний звук,
бескровным рокотом взрываясь из-под рук,
снует, как стон, в просторе мировом...
Ворочаться и слышать перед сном:
очнись — засни — прости за всё — терпи,
струной в тумане, голосом в степи...

Самое раннее в речи — ее начало.
Помнишь камыш, кувшинки возле причала
в верхнем теченье Волги? Сазан ли, лещ ли —
всякая тварь хвостом по воде трепещет,
поймана ли, свободна, к обеду готова —
лишь бы предсмертный всплеск превратился в слово.

Самое тяжкое в речи — ее продление,
медленный ход, тормозящийся вязкой ленью
губ, языка и нёба, блудливой нижней
челюсти — но когда Всевышний
выколол слово свое, как зеницу ока, —
как ему было больно и одиноко!

Самое позднее в речи — ее октавы
или оковы, вера, ночное право
выбора между сириусом и вегой,
между двурогой альфою и омегой,
всем промежутком тесным, в котором скрыты
жадные крючья вещега алфавита.

Цепи, веревки, ядра, колодки, гири,
нет, не для гибели мы ее так любили —
будет что вспомнить вечером на пароме,
как ее голос дерзок и рот огромен —
пение на корме, и сквозит над нами
щучий оскал вселенной в подводной яме.

Я знаком с одним поэтом: он пока еще не стар.
 Утро красит нежным светом стены замков и хибар.
 Он без сна сидит на кухне. За стеною спит жена.
 Стынет кофий, спичка тухнет, и в тетрадке ни хрена.
 Это страшно, но не очень. Завещал же нам „молчи”
 цензор Тютчев в дикой но́чи или, правильной, в но́чи
 размышлявший о прекрасном и высоком, но пера
 не любивший, даже классно им владея. До утра
 в тихой мюнхенской гостиной созерцал он чистый лист
 у потухшего камина, безнадежный пессимист.

Не грусти — для счастья нужно огорчаться иногда.
 Например, спешит на службу граждан честная орда,
 и легко ль казаться важным, если знаешь наперед,
 что никто из данных граждан книжек в руки не берет?
 Это грустно, но не слишком. Велика поэтов рать,
 нет резона ихним книжкам без оглядки доверять,
 лучше взять другой учебник, простодушный мой дружок,
 где событий нет плачевных и терзаний смертных йок.
 Это чудо-руководство ты купи или займи,
 только как оно зовется — не припомню, шер ами...

Там, гуляя звездным шляхом, астрофизик удалой
 водрузил единым махом новый веры аналой,
 рассчитал, что в мире зримом ни начала, ни конца,
 доказал, что время мнимо, и отсутствие творца
 обнаружил он, затейник. Полон зависти поэт,
 и кипит его кофейник, и покоя в сердце нет:
 милой жизни атрибуты, радость, страсть, добро и зло —

как же их увидеть, будто сквозь волшебное стекло,
чтобы жар любви любовной вдруг двояться перестал
и предстал прозрачным, словно сквозь магический кристалл?

В рассужденьях невеселых ты проводишь краткий век,
будто прошлого осколок, будто глупый человек.

Звуки песенки негромки, но запой ее в беде:
все мы прошлого обломки, сны о завтрашнем труде,
то ночами спички ищем, то бросаем меч и щит, —
оттого и слог напыщен, и головушка трещит.

Где найти дрожжей бродильных, как услышать тайный глас
и безоблачный будильник на какой поставить час?

Спи: судьба тебя не судит. Не беги ее даров.

Все равно тебя разбудит моря сумрачного рев...

Торговец воздухом и зовом, резедой
и львиным зевом — бархатным, багровым, —
как долго ты висишь меж небом и бедой,
до гроба вестью невесомой зачарован, —
торговец астрами, продрогший в темный час
у рыночных ворот, украшенных амбарным
замком, — цветы твои, приятель, не про нас,
не столь бедны мы, сколь неблагодарны.
Мы, соплеменники холщовой тишины
и братья кровные для всякой твари тленной —
не столь утешены мы, сколь обольщены
биеньем времени в артериях вселенной.
Кому, невольник свежесрезанных красот,
не жаловался ты на скверную торговлю?
Но блещет над тобой иссиня-черный свод,
от века исподволь грозящий каждой кровле,
ни освящения, ни слуха — до поры,
но длится римский пир для лиственного зренья,
и в каждом лепестке — открытые дары,
напрасные миры иного измеренья...

В неуловимых волнах синевы
переливаясь, облачные львы,
верней — один, повернутый неловко,
всплывает вдруг... О чем ты говоришь,
Полоний мой? Нет, это простомышь,
подземных звезд бесполоя воровка,

довольная минутным бытием,
она в зрачке сжимается твоим,
и, как поэт сказал бы, в неге праздной,
спешит бесшумным курсом на закат,
где золотом расплавленным богат
диск солнечный, и мрак шарообразный.

Рассеемся — я тоже залечил
свой давний дар, и совесть облегчил
вечерней речкой, строчкой bestолковой...
Ни облаку, ни ветру не судья,
плыву один в небесные края,
неверностью и ревностью окован.

Оттревожится все: даже страстный, сухой закат
задохнется под дымным облаком, словно уголь
в сизом пепле. Простила ль она? Навряд.
Слишком верною, слишком строптивой была подругой.
Будто Тютчев, дорогой большою в ботинках бредешь сырых
и, от тяжести хладного неба невольно ежась,
декламируешь тихо какой-нибудь хлесткий стих,
скажем, *жизнь есть проверка семян на всхожесть*.

Погоди: под дождем полуголые спят кусты,
побежденный ветер свистит и кричит „доколе”?
Навсегда, потому что я стал чужим, отвечаешь ты,
и глаза мои ест кристалл океанской соли.
Навсегда, навсегда, потому что в дурном хмелю
потерялся путь, отвердила свое гадалка.
Никого — шумишь — я в сущности не люблю,
никого мне отныне, даже себя, не жалко.

И в ответ услышишь: алые облака
словно голос в городе — были, и больше нету.
Всей глухой надеждой сдвоенного ростка
в подземельном мраке, кощунствуя, рваться к свету —
ты забыл молодого снежка беззаботный хруст,
оттого-то твой дух, утекающий в смерть-воронку,
изблюет ассирийский бог из брезгливых уст
и еще засмеется тебе вдогонку...

Воздвигали себя через силу, как немецкие пленные — Тверь,
а живем до сих пор некрасиво, да скрипим, будто старая дверь.
Ах, как ели качались, разлапась! Как костер под гитару трещал!
Коротка дневниковая запись, и любовь к отошедшим вещам,
словно свет, словно выстрел в метели, словно пушкинский стих
невпопад...

Но когда мы себе надоели, сделай вывод, юродивый брат, —
если пуля — действительно дура, а компьютер — кавказский орел,
чью когтистую клавиатуру Прометей молодой изобрел, —
бросим рифмы, как красное знамя, мизантропами станем засим
и погибших товарищей с нами за пиршественный стол пригласим...

Будут женщины пить молчаливо, будет мюнхенский ветер опять
сквозь дубы, сквозь плакучие ивы кафедральную музыку гнать,
проступают, как в давнем романе, невысокие окна, горя
в ледяной электрической раме неприкаянного января,
и не скажешь, каким Достоевским объяснить этот светлый и злой
сквознячок по сухим занавескам, город сгорбленный и пожилой.
Под мостом, под льняной пеленою ранних сумерек, вязких минут
бедной речкой провозят стальное и древесное что-то везут
на потрепанной барже. Давай-ка посидим на скамейке вдвоем,
мой товарищ, сердитый всезнайка, выпьем водки и снова нальем.

Слушай, снятый с казенного кошта, никому не дающий отчет,
будет самое страшное — то, что так стремительно время течет,
невеселое наше веселье, муравьиной работы родник,
всякий день стрекозиною хмеля, жизнь, к которой еще
не привык, —
исчезает уже, тяжелея, в зеркалах на рассвете сквозит

и, подобно комете Галлея, в безвоздушную вечность скользит —
но Господь с тобой, я заболтался, я увлекся, забылся, зарвался,
на покой отправляться пора — пусть далекие горы с утра
ослепят тебя солнцем и снегом — и особенной разницы нет
между сном, вдохновеньем и бегом — год ли, век ли,
две тысячи лет...

Что положить в дорогу? Лампу, хлеб, вино,
продолговатый меч нубийского металла,
и щит, и зеркальце, чтобы во тьме оно
отполированную бронзою сверкало,
чтобы, нахохлившись растерянной совой,
душа, проснувшаяся в каменных палатах,
легко и весело узнала облик свой
среди богов песьеголовых и крылатых.

Товарищ вольный мой, ну что ты отыскал
в удвоенных мирах и световодных войнах,
не трогая меча, не жалуя зеркал,
хрустальных, будущих, овальных, недовольных?
Уже вступает хор, а ты — солгал, смолчал,
и, обременена случайными долгами,
рука, подобная пяти ночным лучам,
обиженно скользит по тусклой амальгаме...

ДРУЖЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ ФЕДЕ АНЦИФЕРОВУ,
ОБЛАДАТЕЛЮ КОЛЛЕКЦИИ МАРОЧНЫХ ВИН,
ЛИТЕРАТОРУ И СИНХРОНИСТУ

Поклонник Батюшкова, друг
животной твари, мой любезный
Анциферов! Люблю досуг
с тобой за жидкостью полезной
я коротать, предвидя миг,
когда, со страстью чудной, пылкой
ворча, пойдешь ты на ледник,
вернувшись с новой бутылкой!
Ты часто потчуеть друзей
вином пленительным и редким,
что просто просится в музей,
по старым судя этикеткам,
питаться мясом ты за грех
считаешь, но зато по-русски
то огурец, а то орех
приносишь в качестве закуски.
А помнишь, Федор, как меня,
обиженного Вашингтоном,
на склоне пасмурного дня
поил ты дивным самогоном?
Он по-английски „лунный свет”
вернее, „лунное сиянье”
зывается — и напитка нет
отменней и благоуханней!
Пускай Америка скучна,
я всё равно к тебе приеду
за рюмкой доброго вина
вести ученую беседу.
Когда на пир приходят твой

Новицкий, сумрачен и гневен,
и Лена, ангел роковой,
и молчаливый Миша Левин,
и Света Д., и Анна О.,
и Инна В. в испанской шали, —
не понимаю одного —
зачем живу я в Монреале!
Нет, я б хотел остаться там,
где много водки и салата,
где воскресает Мандельштам
в интерпретации Патата¹,
где Баратынский, словно хмель,
где цвет магнолии в июне,
где вспоминают Коктебель,
где дочь Анюта с внучкой Дуней.
Анциферов! Ты сам поэт,
прими же, коли вяжешь лыко,
добросердечный сей привет
от суетливого калмыка.
Пускай слова мои грубы —
жизнь никогда не станет пресной
для переводчиков судьбы
с земных языков на небесный.

¹ Собака хозяина, исключительно достойного нрава.

Как холодно. Тереть глаза, считать до ста,
ворочаться, вздыхать, — должно быть, неспроста,
шумит, шумит во тьме ущербный дождик мелкий,
уходит свет в песок, просрочены счета,
и скверные стихи нуждаются в отделке.

Платон, пещеры друг, учил, что жизнь — кино,
зачем же ты, скользя по плоскости наклонной,
в дырявые меха льешь странное вино,
как будто всякий сон есть око и окно
в безлунный, дикий сад, пропахший белладонной

и валерьяной... твой Господь не спит,
неосвященным дождиком кропит
горбатый дом для мимолетней твари.
А там, под костью сводчатой, кипит
борьба одушевленных полушарий —

не дремлет раб, земля ему кругла —
ни одного излома и угла,
ни выступа, ни лестницы, ни сетки —
так пленный царь стирает пот с чела,
на площади, один в железной клетке.

Вот человек, которому темно, —
по вечерам в раскрытое окно
он клонится, не слишком понимая,
о чем шумит нетрезвый пешеход,
куда овчарка старая бредет,
зачем луна бездействует немая.

Зато с утра светло ему, легко —
он молча пьет сырое молоко,
вступает в сад, с деревьями ни словом
не поделившись, рвет созревший плод
и скорбь свою, что яблоко, жует,
на солнце щурясь в облаке багровом.

Так черешок вишневого листка
дрожит и изгибается, пока
простак Эдип, грядущим озабочен,
мечтает жить, как птицы у Христа,
не трогать небеленого холста
и собирать ромашки у обочин.

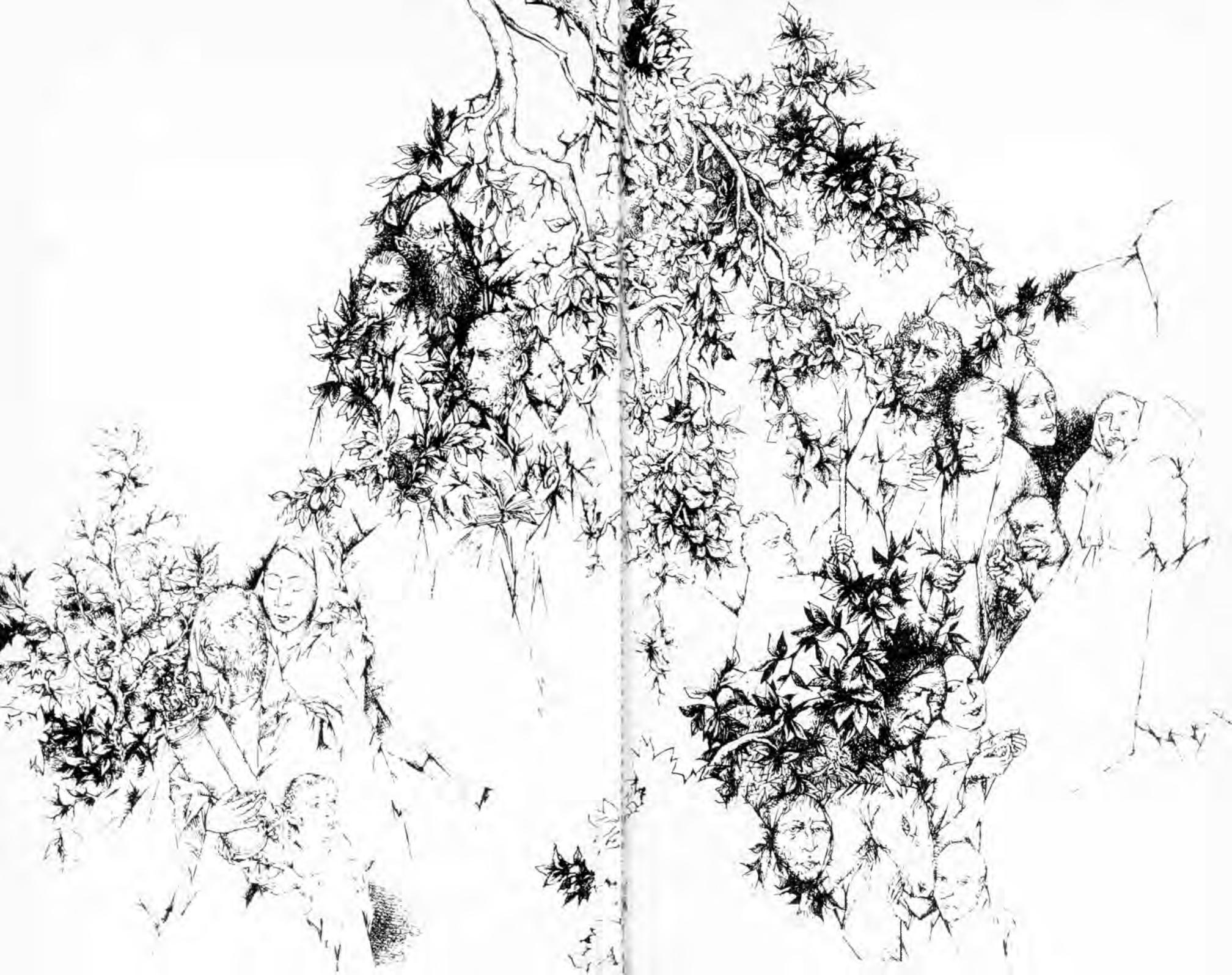
Да я и сам, признаться, тоже прост —
пью лишнее, не соблюдаю пост,
не выхожу из баров и кофеен.
Чем оправдаться? От молодых ногтей
я знал, что мир для сумрачных вестей,
а не для лени пушкинской затеян.

Я был другой, иные песни пел,
а ныне — истаскался, поглупел,

присматриваясь к знакам в гороскопе
безлюдных парков, самолетных крыл,
любовных строк, которые забыла
сказать своей похищенной Европе.

Так человек согнулся и устал,
и позабыл, как долго он листал
Светония, дышал табачным дымом
под винный запах августовских дней —
чем слаще спать, тем царствовать трудней
в краю земном, в раю необратимом.





СОДЕРЖАНИЕ

Из книги «Стихи последних лет»

«Говори — словно боль заговаривай...»	9
«Доживать, ни о чем не жалея...»	10
«Отложена дуэль. От переспелой вишни...»	12
«В блокноте, начатом едва...»	13
«Нет, не безумная ткачиха...»	15
«Дворами проходит, старье, восклицает, берем...»	16
Доктору наук Александру Садецкому, предложившему автору беспронгреш- ный способ игры на рулетке	19
«Дорожащий неведомым, длиною, рыжей...»	21
Памяти Арсения Тарковского	22
«Век обозленного вздоха...»	24
«Всадник въезжает в город после захода солнца...»	25
«Хорошо на открытии ВСХВ...»	26
«Киноархив мой, открывшийся в кои-то...»	27
«Любому веку нужен свой язык...»	28
«Каждому веку нужен родной язык...»	30
«Словно тетерев, песней победной...»	31
«В долинном городе — пять церквей...»	33
«Декабрьское небо взъерошено...»	37
«— Эй, каменщик в фартуке! Что ты...»	38
«Запрокинувший голову раб...»	40
«Не горюй. Горевать не нужно...»	41
«Ледяной синевой обделенный...»	43
«Законы физики высокой...»	45
«Безымянное небо. Зеленка, и йод...»	46
«И темна, и горька на губах тишина...»	47
«За головокружительную далью...»	48
«Куда плывет громоздким кораблем...»	49

«Заела проза — но, увы, не та...»	50
«Жизнь, говоришь, утекает? Смешон, независим...»	51
«Расскажи мне об ангелах...»	52
«Неужели хвалиться нечем? Нитка, пьальцы, канва, игла...»	57
«Давай за радость узнавания, как завещал один поэт...»	60
«Над огромною рекою в неподкупную весну...»	61
«Ах, карета почтовая, увлеченная пургой...»	62
«Первый погон или пряный посол...»	63
«Тонких нот звуковой лепрозорий...»	64
«Где серебром вплетен в городской разброд...»	65
«...не ищи сравнений — они мертвы...»	66
«Пока наверху без обиды и гнева...»	69
«Европейцу в десятом колене...»	70
«Уходит звук моей любимой беды, вчера еще тайком...»	71
«То могильный морозец, то ласковый зной...»	72
«Пой, шарманка, ушам нелюбимым — нерифмованный воздух притих...» ..	73
«Земли моей живой гербарий! Сухими травами пропах...»	74
«Стало молчание золотом — влажный хаос языка...»	75
«Забытого промысла малая часть, дитя за стеклянной стеной...»	76
«Седина ли в бороду, бес в ребро...»	77
«Обманывая всех, переживая...»	78
«Молоко ли в крынке топится, усыхает ли душа...»	79
«Когда безлиственный народ на промысел дневной...»	80

Послания (Монреаль, 1889)

I. «Любезный Радашкевич, извинишь ли...»	87
II. «Привет тебе из северного града...»	90
III. «Почтеннейший Моргулис, высылаю...»	92
IV. «Мой добрый Милославский, с Рождеством...»	94
V. «Любезный Марк, из сонного Торонто...»	96
VI. «Прелестница моя, каков портрет...»	99
VII. «Приветствую тебя, неповторимый...»	102
VIII. «Благодарю за весточку, мой Яков...»	104
IX. «Мой Палисандр, ахейские вершины...»	109

X. «Дошла ли, Рональд, до тебя моя...»	112
XI. «Привет тебе, печальный пересмешник...»	115
XII. «Вот и весна, историк, искушенный...»	118

Из книги «Amo ergo sum»

«Человек, продолжающий дело отца...»	127
«Пчелы, стрекозы, осы ли — высохли. Но плывут...»	128
«Душа стеклянная, кого ты ждешь, звеня?»	129
«Незаметно отстроился праздничный град...»	130
«Полно мучиться сном одноглазым...»	131
«...и даже этот черный вечер...»	132
«Заснет мелодия, а нотам не до сна...»	133
17 августа 1991 г.	134
«Словно выхлоп, что наша, упавшая с плеч...»	137
«Речь о непрочности, о ненадежности. Речь...»	138
«Ты вспомнил — розовым и алым...»	139
«Сколько звезд роняет бездонный свет...»	141
«Тихо время утекает, убегает дотемна...»	142
«... Кто же вступится за нас...»	143
«Есть одно воспоминанье — город, ночь, аэродром...»	144
«Погас империи бутылочный осколок...»	146
«Окраина — сирень, калина...»	147
«От Кремля до цыганского табора...»	149
«Выживай, выпивай — вот канва и игла...»	153
«Ничего, кроме памяти, кроме...»	154
«То эмигрантская гитара...»	156
«Да будет каждому по вере...»	158
«Пусть вечеру день не верит — светящийся, ледяной...»	159
«Полжизни пройдет в романтических ссорах...»	160
«Половинка яблока. Первый снег...»	161
«Как утомленно гадательный ропщет тростник...»	162
«Потому что в книгах старых жизнь ушедшая болит...»	163
«Было: медом и сахаром колотым...»	164
«Огонь свистящий и шипящий...»	166

«... длись же, иночество, одиночество...»	167
«Бой курантов ежечасный, снегопад в ночи густой...»	168
«Хочется спать, как хочется жить...»	169
«В дому, построенном тобой...»	170
«Изнывает жизнь в неволе...»	171
«Что ты плачешь, современник...»	173
«Ну и что с того, что дышать отвык...»	175
«Должно быть, Ева и Адам цены не ведали годам...»	176

Между сном, вдохновеньем и бегом

«С каменного обрыва ты видишь сад...»	183
«Допустим вот какой курбет. Поэт садится за обед...»	184
«На небе звезда, под землей провода...»	186
«Марс — для боевого пира...»	187
«Время течет неслышно, а жизнь — журча...»	188
«Такая удивительная высь...»	189
«Выйдем в город — полночь с нами...»	191
«Вот и февраль побрел по промерзшим селам...»	192
«На утесе, размышляя, наблюдал я бездну вод...»	193
«И безнадежней всё, и проще...»	194
«Спят мои друзья в голубых гробах. И не видят созвездий, где...»	195
«Попробуй душой нищать, как велит завет...»	196
«Есть в природе час, а вернее, миг...»	197
«Куда как крутое место, приют окрестной...»	198
«Что делать нам (как вслед за Гумилевым чуть слышно повторяет...»	199
«Гадальщик на кофейной гуще, он знал, что дни его долги...»	200
«Я шагал с эпохой в ногу, знал поэтов и певцов...»	201
«Пожилой магистр ледяных наук...»	202
«Переживешь дурные времена...»	203
«Кто житель, кто жилец, кто вены отворив...»	204
«Блажен, кто сумрачен и сир, кого суровый Бог...»	205
«Была ли первая, настанет ли вторая...»	206
«Где гудок паровозный долог, как смертный стон...»	208
«Так горек голос твой, тихоня, проводник...»	209

«Сколько можно лететь от любви до любви...»	210
«От взоров ревностных, чужих ушей-воров...»	211
«Для чего радел и о ком скорбел...»	212
«Если жизнь еще жива, что наслаивать слова...»	214
«Мудрец и ветреник, молчальник и певец...»	217
«Еще любовь горчит и веселит...»	218
«Откроешь дверь: ночь плывет во тьме, и огоньком сияет на холме...»	220
«Никто не зайдет в этот вечер за мной, на лоб не положит ладонь...»	221
«Если творчество — только отрада...»	222
«Юность в зарослях болиголова...»	224
«Не гляди под вечер в колодезь минувших лет...»	225
«Было раено, стало залечено — после долгой и волглой зимы...»	226
«Быть может, небылица или забытая, как мертвый, быть...»	227
«Я знаю, чем это кончится, — но как тебе объяснить?»	228
«Засыпая в гостинице, где вечерет рано...»	229
«Не говори, что нем могильный холм...»	231
«Самое раннее в речи — се начало...»	233
«Я знаком с одним поэтом: он пока еще не стар...»	234
«Торговец воздухом и зовом, резедой...»	236
«В неуловимых волнах синевы...»	237
«Оттревожится все: даже страстный, сухой закат...»	238
«Воздвигали себя через силу, как немецкие пленные — Тверь...»	239
«Что положить в дорогу? Лампу, хлеб, вино...»	241
Дружеское послание Феде Андиферову, обладателю коллекции марочных вин, литератору и синхронисту	242
«Как холодно. Тереть глаза, считать до ста...»	244
«Вот человек, которому темно...»	245

Бахыт Кенжеев
Стихотворения

Художник А. Смирнов
Корректор В. Антонова
Ответственный за выпуск Л. Цветкова

ЛР № 050047 от 23.12.91
Сдано в набор 26.04.95
Подписано в печать 29.08.95
Формат 60 × 90 ¹/₁₆
Печать офсетная
Гарнитура Академическая
Печ. л. 16,0
Тираж 2000
Заказ № 3263

АО Издательство «ПАН»
103012, Москва, Богоявленский пер., 3, стр. 4

Типография №2 издательства „Наука”
Москва, Шубинский пер., 6





Бахыт Кенжеев известен ценителям поэзии как один из участников группы „Московское время”. Это камерное объединение 70-х годов внесло в русское стихотворчество струю романтизма и трагической горечи.

Сейчас поэт живет в Канаде. Вышли четыре книги его стихотворений, две из них за рубежом. В нынешнем, пятом сборнике представлены стихи ранних лет и последние, не издававшиеся сочинения. В них особенно сильно звучит ностальгическая нота. Тема неминуемой утраты тесно переплетается с благоговением перед красотой сущего мира.